№ 3. ВТОРНИКЪ, 10 ЯНВАРЯ. 1861. WTOREK, 10 STYCZNIA. Nr. 3.

ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ

KURYER WILEŃSKI

ОФФИЦІАЛЬНАЯ ГАЗЕТА. GAZETA URZĘDOWA.

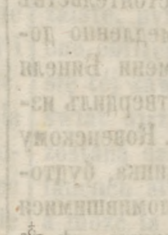
„ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ“ выходитъ по ВТОРНИКАМЪ и ПЯТНИЦАМЪ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

Цѣна за годъ	10 р.
„ „ съ пересылкою	12 „
„ за полъ года	5 „
„ „ съ пересылкою	6 „
„ на четверть года	2 „ 50 к.
„ „ съ пересылкою	3 „
„ за 1 мѣсяцъ	1 „

За объявленія платится за строку 17 к. сер.

Контора редакціи въ Вильнѣ, на Дворцовой улицѣ, въ Гимназіальномъ домѣ.



„KURYER WILEŃSKI“ wychodzi co WTOREK i PIĄTEK.

WARUNKI PRZEDPŁATY.

Cena roczna	rs. 10
„ „ z przesyłką	„ 12
„ półroczna	„ 5
„ „ z przesyłką	„ 6
„ kwartalna	„ 2 k. 50
„ „ z przesyłką	„ 3
„ miesięczna	„ 1

Za ogłoszenia płaci się za każdy wiersz druku po kop. 17.

Bióro redakcji w Wilnie, przy ulicy Biskupiéj (Dworcowéj), w murach po-uniwersyteckich.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Ст.-Петербургъ, 5 января.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу г. министра финансовъ, въ 9-й день декабря, высочайше повелѣть соизволилъ: срокъ подписки на государственные непрерывно-доходные билеты продолжить до 1-го января 1862 года.

— Высочайше утвержденнымъ 14-го ноября мнѣніемъ государственнаго совѣта, по разсмотрѣніи представленія министра государственныхъ имуществъ, относительно разрѣшенія въ правительствующемъ сенатѣ дѣлъ о самовольныхъ порубкахъ казенныхъ лѣсовъ, пожарахъ въ сихъ лѣсахъ и другихъ нарушеніяхъ лѣснаго устава, безъ истребованія заключенія министра государственныхъ имуществъ, согласно съ заключеніемъ его, министра, положено: въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей св. закон., постановить, что дѣла о самовольныхъ порубкахъ казенныхъ лѣсовъ, пожарахъ въ сихъ лѣсахъ и другихъ нарушеніяхъ лѣснаго устава не препровождаются изъ правительствующаго сената на заключеніе министра государственныхъ имуществъ, а состоявшіяся по симъ дѣламъ въ сенатѣ опредѣленія, когда съ государственныхъ крестьянъ, или другихъ прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ присуждаются личныя взысканія, вносятся къ министру юстиціи. Министръ юстиціи, или обращаетъ означенныя опредѣленія въ установленномъ порядкѣ, къ исполненію, или, если признаетъ, что присуждаемыя, на основаніи закона, личныя взысканія могутъ по обстоятельствамъ дѣла быть смягчены, входитъ о томъ съ представленіями въ комитетъ министровъ, для испрошенія на сіи случаи особыхъ высочайшихъ повелѣній.“

Вильно, 9 января.

Въ 28 N. газеты „Разсвѣтъ“—органа Русскихъ Евреевъ, издаваемой въ Одессѣ, напечатано, что Ковенской губерніи, въ Новоалександровскомъ уѣздѣ, въ односеленіи, лежащемъ близь м. Дусяты, живетъ еврей Бинель Мендакъ, съ женою и тремя дочерьми. Въ субботу вечеромъ, съ 7 на 8 октября 1860 г., когда все семейство Мендака улеглось спать, дверь бывшая на запорѣ, отъ сильнаго напора извнѣ отворилась и въ жилище ворвались четыре человѣка, крестьяне сосѣдняго сельскаго общества, которые бросились на старшую пятнадцатилѣтнюю дочь хозяина; схвативъ ее, они стали увлекать ее съ собою за двери; но крикъ поднятый ея родителями и сильное ея сопротивленіе заставили похитителей бросить ее. Вслѣдъ за тѣмъ они схватили младшую девятилѣтнюю дочь Мендака, Цинку, и мигомъ очутились, вмѣстѣ съ этою несчастною жертвою, на подводахъ, ожидавшихъ ихъ прибытія. Несчастный отецъ, подоспѣвшій къ вопіющему о спасеніи дитяти, въ намѣреніи если не спасти, то слѣдовать за похитителями, былъ нѣсколькими ударами опрокинутъ на землю; не смотря на это, собравъ послѣднія силы, онъ пустился преслѣдовать похитителей. Напрасно бѣдный бился цѣлую ночь; не настигъ онъ своей дочери и одинъ воротился въ свой домъ.

10 числа отецъ похищенной дѣвушки узналъ, что его дочь содержится въ м. Комаяхъ (Новоалександровскаго же уѣзда), у тамошняго католическаго священника Маціевскаго; родители поспѣшили туда, но что же?— ни слезы, ни рыданія и никакія просьбы несчастныхъ не могли склонить священника къ возвращенію имъ дочери; имъ недозволено было даже видѣться съ нею. Священникъ Маціевскій отговаривался, какъ и слѣдовало ожидать, тѣмъ, что дитя, будтобы само не соглашается возвра-

WIADOMOŚCI KRAJOWE.

St.-Petersburg 5 stycznia.

CESARZ JEGO MOŚĆ, po najpoddanniejszém przełożeniu p. ministra skarbu, 9-go grudnia Najwyżéj rozkazać raczył: termin zapisywania się na bilety państwa ciągłego dochodu, przedłużyć do 1-go stycznia 1862 roku.

— Przez najwyżéj utwierdzoną 14 go listopada opinję rady państwa, po rozpatrzeniu przełożenia ministra dóbr państwa, względem rozstrzygania w rządzącym senacie spraw o samowolnych wyrąbaniach lasów skarbowych, o pożarach w tych lasach i innych naruszeniach ustawy leśnéj, bez wypotrzebowania wniosku ministra dóbr państwa, zgodnie z decyzją tegoż ministra, uchwalono: na odmianę i uzupełnienie właściwych art. Zb. Pr. postanowić, że sprawy o samowolnych wyrąbaniach lasów skarbowych, pożarach w tych lasach i innych naruszeniach ustawy leśnéj, nie przesyłają się z rządzącego senatu na decyzję ministra dóbr państwa, lecz nastałe w tych sprawach w senacie postanowienia, skoro na włościanach skarbowych, lub na innych zamieszanych do sprawy osobach zasądzają się sztrofy osobiste, wnoszą się do ministra sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości, bądź podaje pomienione postanowienie w porządku przepisanym, ku wypełnieniu, bądź też, jeżeli uzna, że przysądzone, na mocy prawa, sztrofy osobiste podług okoliczności sprawy mogą być zmniejszone, wchodzi o tém z przełożeniem do komitetu ministrów, dla wyjednania na te zdarzenia osóbnych rozkazów Najwyższych.»

Wilno, 9 stycznia.

W N-rze 28 dziennika „Rozświt,“ będącego organem Rossyjskich żydów, umieszczony był artykuł następnéj treści: W Kowieńskiéj gubernji, w pow. Nowo-aleksandrowskim w osadzie niedaleko m. Dusiat, mieszka żyd Binel Mendak z żoną i trzema córkami. W sobotę w nocy z d. 7 na 8 października 1860 r. kiedy cała rodzina Mendaka spać się położyła, drzwi zamknięte na zasuwkę, od silnego parcia zewnątrz otworzyły się i do chaty wpadło cztérech ludzi, włościan sąsiedniéj gminy wiejskiéj, którzy się rzucili na starszą 15-to letnią córkę gospodarza i pochwyciwszy zaczęli ją ciągnąć z sobą za drzwi; lecz krzyk rodziców i silny opór z jéj strony zmusiły napastników odstąpić od niéj. Nie poprzestając jednak na tém schwycili młódszą, dziesięcio-letnią córkę Mendaka, Cipkę i w mgnieniu oka dopadli razem z nieszczęsną swoją ofiarą do podwod, które czekały na ich przybycie. Nieszczęśliwy ojciec, który wyleciał za nimi, na krzyk dziecka wołającego o ratunek, chcąc jeśli nie wyrwać je z rąk napastników, to przynajmniéj zdążyć za nimi, kilku razami został zwalony na ziemię. Pomimo to jednak, zebrawszy ostatnie siły, puścił się w pogoń za napastnikami.— Napróżno jednak bił się noc całą, nie dopędził córki swojéj i jeden wrócił do domu.

10 października ojciec porwanéj dziewczyny dowiedział się, że jego córka przechowuje się w m. Komaju (w p-cie Nowo-aleksandrowskim) u tamecznego katolickiego księdza Maciejewskiego; oboje rodzice udali się tam natychmiast, lecz cóż? ani łzy, ani najtkliwsze prośby nieszczęśliwych nie były w stanie skłonić księdza do wrócenia im córki; nie pozwolono im nawet z nią się widzieć. Ks. Maciejewski wymawiał się, jak się spodziewać należało, tém, że dziewczyna sama jakoby

Изъ забытаго Портфеля.

IV. БѢГЛЕЦЫ.

Отрывочныя сцены.

III. Въ Гамбринусъ-Галле.

Въ передней комнатѣ суетилось нѣсколько миловидныхъ служанокъ; за прилавкомъ на возвышеніи стоялъ огромный боченокъ съ пивомъ, изъ блестящаго крана котораго безустанно лилась пѣнистая струя въ хрустальныя зейдели. Во второй и въ третьей комнатахъ, очень обширныхъ размѣровъ, съ низкими сводами собралось самое оживленное общество. Шумъ, говоръ, суетливое движеніе; дымъ отъ сигаръ и трубокъ принималъ въ свои волны новыхъ прибывавшихъ постоянно посѣтителей и снова схлынывался и замыкался своей тяжелой пеленой. Кругомъ простыхъ, подернутыхъ только слегка лакомъ столовъ на простыхъ деревянныхъ скамьяхъ, въ различныхъ позахъ, сидѣло человѣкъ до сорока Нѣмцевъ-работниковъ съ желѣзной дороги, съ батовъ; нѣсколько туземцевъ терялось въ ихъ толпѣ; въ сосѣдней комнатѣ бѣлѣлись кителя гусаръ. Громкій оживленный шумъ шелъ отъ каждаго кружка. Служанки съ зейтелями пива, нанизанными на пальцахъ, быстро мелькали промежъ гостей, съ громомъ ставя предъ потребителями порціи пива и грогу.

— Anchen! ein Seidel-Bier!

— Dorchen! drei Seidel-Bier.

— Anchen! schönste Anchen, geben sie mir ein Seidel Bier und ein Kuss auch!

— Zwei Silbergroschen, mein Herr! твердитъ Анхенъ улыбаясь и захлопывая незакрытую крышку кружки... и при этомъ ловко ускользнетъ изъ растопыренныхъ объятій разтаевшаго нѣмца; а тотъ чуть, удержавъ равновѣсіе, не скоро пришелъ въ себя и разразясь порядочнымъ: O, tausend Teufel!... влилъ въ себя огромный глотокъ пива....

Въ одномъ кружкѣ собрались чиновники и нѣкоторые изъ окружныхъ шляхтичей и обывателей. Красный, бойкій полисменъ, что то разсказывалъ интересное и при этомъ сильно размахивалъ руками. Слушатели прерывали полисмена только восклицаніями, вызываемыми разсказомъ и требованіями новыхъ порцій пива. Нужно отдать справедливость, пиво располагаетъ къ длиннымъ, большею частью прѣснымъ разсказамъ, или ужъ непремѣнно таинственнымъ во вкусѣ романовъ какого нибудь Нѣмца Шпиндлера съ товарищами.

— „Я вамъ скажу, продолжалъ бойкій и верткій полисменъ. Поймать каждую штучку нужна сноровка; да за то и слѣдовъ больше. А вотъ извольте словитъ благороднаго вора въ какомъ нибудь фракѣ, или пальто; а еще лучше даму, можно сказать почтенную даму въ салопѣ, въ бурнусѣ—то есть я говорю про городъ. Въ деревнѣ съ слѣда на слѣдъ набѣжишь: нѣтъ тутъ въ городѣ: это поважнѣе.—А тутъ вотъ хоть въ этомъ случаѣ: прибѣжалъ старикъ, баки рветъ: „украли говоритъ, украли сакъ-вояжъ, деньги, брилльянтовыя вещи; тысячь на двадцать“—говоритъ: и деньги, золото да ассигнаціи. Украли, кричитъ, только успѣлъ вывернуться на минутку изъ комнаты. Еврей-хозяинъ говорятъ, сообщникъ. Кто спрашиваемъ. „Кто ихъ знаетъ. Мужъ, да жена, а то скоро любовники: ѣхали по шоссе, встрѣтились на дорогѣ, искали попутчика; молодой мущина—статенъ, высокаго роста въ пальто; женщина брюнетка въ салопѣ, въ шляпкѣ не то въ чепчикѣ. Убѣжали въ полдень, въ базарный день. Свои вещи оставили. Вотъ вамъ и слѣды всѣ—дѣлайте, что хотите: а начальство что?—развѣ оно въ положенье ваше входитъ: какъ бы не такъ: лопни а отыщи, изъ подъ земли вырой. Вотъ и тутъ тоже: хоть и божится и божится: ищите говоритъ, изъ половины; да гдѣ ужъ повѣрить; въ бѣдѣ то золотыя горы сулитъ, а вылезетъ—такъ полушки жаль. Знаемъ мы. Развѣ то, что тутъ амбиція отыскать велитъ. Нашли къ счастью бумаги, такой—Брындасъ; съ женой изъ дома Сѣдлевичъ; и уѣздъ назвалъ. Туда скачемъ: старикъ бѣглянки услыхалъ зачѣмъ пріѣхали, плачетъ только да говоритъ, что дочка его поѣхала родныхъ навѣстить, что она и за мужъ невышла: родительскаго благословенья не было, а больше знать ничего не знаетъ. Мать тоже, да съ горя слегла; больно плоха сдѣлалась. Къ отцу главнаго бѣглеца: таже исторія: бѣдный такой мужичокъ: едва барщину тянетъ; слышъ сына то баринъ отпустилъ на волю, чтобы только науки въ какой то школѣ кончилъ. А вотъ онъ какія науки то и совершилъ.—Дѣлать нечего: пошли дальше ужъ соображенія только. Чтоже вы скажите, добрались до клубка по ниткѣ. Верстъ сорокъ по рѣкѣ спустились; онъ ей въ мѣстечкѣ свѣтелку нанялъ, а самъ ушелъ службу искать: взошли мы, обмерла бѣдняжка: „Какъ сидѣла, такъ и опустила руки. Потомъ встала, посмотрѣла на насъ, мы было съ допросами, она прямо подошла къ комоду, отперла ящикъ и показала тамъ вещей разныхъ, драгоцѣнностей; рублей на пять сотъ! батеньки! Денегъ при ней всего рубли два нашли; остальное все взялъ ея сожитель. Тутъ то ужъ все и открылось. И какъ они бѣжали отъ отца и матери, которые вѣнчаться имъ не позволили, и какъ потомъ ксендзы ихъ не вѣнчали; и потомъ какъ они условились называться мужемъ и женой и какъ самъ Брындасъ какой то видъ себѣ состряпалъ; а потомъ какъ онъ приревновалъ ее, Ганну то, къ старику съ которымъ ѣхали: все боялся онъ, чтобы она съ старикомъ то не бѣжала: разъ въ полдень, вышелъ куда то старикъ, такъ онъ и говоритъ: идемъ скорѣе, если не хочешь пропасть одна! взялъ подъ руку, да и вывелъ. Поѣхали себѣ рѣкой и ничего другъ другу почти несказали. Только ужъ пріѣхавши на мѣсто, гдѣ ее—голубушку, схватили, она ужъ тогда сказала, что не хотѣлъ дать посмѣяться старику надъ своей любовью: взялъ у него и деньги и вещи; пускай ка съ сѣдыми то волосами безъ денегъ поволочится. И знала бѣдняжка, что дурно; и своему полюбовнику выговоривала, да что тутъ сдѣлаешь: одно слово, что баба, бабой вѣкъ и останется. Пострадаетъ только жалко за свою глупость.

Слушатели только и сказали. Жалко, какъ не жалко, жалѣть нужно; а что, Петръ Петровичъ, я думаю и хорошенькая, да молоденькая!

— Оно, конечно, и хорошенькая и молоденькая—да все это не въ прокъ пошло.

Молодость да красота ни за грошъ погибли. Да къ тому еще и беременна отъ него осталась.

— Беременна; Вотъ не въ пору, замѣтилъ кто-то изъ числа слушателей.

— Да, беременна! кафтанчикъ ребенку ужъ шила; раненько приготовляла. Ну, мы ее конечно распросили объ соколѣ. Ушелъ куда то службы искать. Его то ужъ по горячимъ слѣдамъ скоро схватили. Только вотъ горе-денегъ и вещей-то ничего не нашли: сначала говорилъ, что зарылъ; потомъ что у знакомаго дворянина положилъ на сохраненіе. Да если и правда, дуракъ тотъ, чтобы сказать. Нѣтъ у насъ какъ деньги, такъ совѣсть то за пазуху: послѣ при деньгахъ авось пригодится, какъ человѣкъ пойдетъ съ ними въ гору. А впрочемъ и то сказать: худой я предъ богомъ человѣчешко: а у стараго хрыча волокиты украсть—не украсть, а такъ, какъ говорится, зажалить, право-слово, бы и не задумался.

— Ну и чтожъ, Петръ Петровичъ, какъ же матерія то дальше пошла.

— Ничего, дѣло просто: въ каменный мѣшокъ, да и дѣло съ концомъ. Купчикъ то поахалъ, поахалъ, видитъ, что дѣлать то нечего, отправился туда, откуда пріѣхалъ; съ голоду не умретъ: человѣкъ ужъ, какой бывалый, я самъ скажу.

— Такъ, такъ! Anchen, дай ка намъ... постой, ein, zwei, drei, четыре, фюнфъ, шесть, семь, восемь,— дай ка намъ, слышъ, гебъ-гебъ... двѣнадцать зейдельбиръ, да ужъ столько же аухъ грогенъ... Ферштеензи.—Ну, маршъ—нѣмецкое отродье, живо! скомандовалъ одинъ изъ благодарныхъ слушателей.

— Пане совѣтнику! Отзывается нерѣшительно жиденькій молодой человѣкъ съ прилизанными висками: мнѣ кажется пиво хорошо бы съ сыромъ кстати, и сыръ здѣсь хорошій! А!?...

— Такъ прикажите себѣ подать!

— Нѣтъ-съ я такъ...—я думалъ вамъ будетъ угодно и захочется...

— Нѣтъ-мнѣ и безъ сыру хорошо! отвѣчаетъ тотъ. Жиденькій молодой человѣкъ сосредоточиваетъ все свое вниманіе на недопитой кружкѣ пива.

(Продолженіе впредь.)

титься къ родителямъ и изъявляетъ желаніе принять христіанскую вѣру.

Еврей Мендакъ формальнымъ порядкомъ донесъ начальству обо всемъ случившемся.

Это возмущающее душу происшествіе перепечатано было, разумѣется, со всевозможными замѣчаніями и комментаріями нѣкоторыми русскими газетами, а за тѣмъ Le Nord и другія иностранныя газеты передали Европѣ извѣстіе объ этой новой Мортарѣ. Статья въ Разсвѣтѣ была подписана г. Гинзбургомъ, принявшимъ на себя отвѣтственность за дѣйствительность факта. Судя по разсказу, нельзя было и предполагать, чтобы главное обвиненіе въ ночномъ нападеніи и похищеніи могло быть несправедливо, или даже преувеличено.

Когда получено было извѣстіе объ этомъ печальномъ случаѣ, въ Вильнѣ, впрочемъ не оффиціальнымъ путемъ, но изъ того же Разсвѣта, г. Виленскій военный, Гродненскій и Ковенскій генералъ-губернаторъ немедленно командировалъ адъютанта своего, капитана Толстова, а также для отклоненія всякаго зазрѣнія, какъ въ дѣлѣ Еврейско-религіозномъ, состоящаго при управленія его высокопревосходительства ученаго еврея Герштейна, исправляющаго тогда должность Виленскаго общественнаго раввина, коимъ предписано было, вмѣстѣ съ Новоалександровскимъ уѣзднымъ стряпчимъ, произвести самое положительное и тщательное дознаніе, возвративъ притомъ захваченнаго ребенка родителямъ, если бы оный дѣйствительно находился у священника Маціевскаго.

По возвращеніи изъ этой командировки, капитанъ Толстой и ученый еврей Герштейнъ, 4 сего января, подали г. генералъ-губернатору подробный рапортъ, при чемъ представили и подлинное производство. Его высокопревосходительству угодно было поручить передать въ редакцію Виленскаго Вѣстника означенный рапортъ и цѣлое дѣло,для извлеченія изъ оныхъ нужныхъ свѣдѣній, дабы читатели могли видѣть этотъ случай въ настоящемъ его свѣтѣ.

Изъ этого рапорта и подлиннаго дѣла мы видимъ, что немедленно по прибытіи на мѣсто, 21-го декабря, гг. Толстой и Герштейнъ пригласили къ себѣ чрезъ городничаго, купеческаго сына Менделя Шаіовича Гинзбурга, о которомъ по тщательной справкѣ, предварительно сдѣланной ими въ г. Вильнѣ, узнали на вѣрное, что онъ написалъ статью о похищеніи у Еврея Мендака малолѣтней его дочери. На предложенный ими вопросъ, писалъ-ли онъ эту статью и неимѣетъ-ли болѣе подробныхъ свѣдѣній объ этомъ происшествіи и его послѣдствіяхъ,—онъ отвѣчалъ, что дѣйствительно писалъ эту статью, почерпнувъ извѣстіе изъ донесенія, писаннаго отцемъ означеннаго ребенка къ г. Ковенскому гражданскому губернатору и изъ общаго слуха, носившагося по всему городу. Теперьже, какъ онъ слыхалъ, дитя это отобрано насильно Евреями отъ священника Мацевича (а не Маціевскаго,какъ по ошибкѣ сказано въ статьѣ г. Гинзбурга), и увезено неизвѣстно ему куда.

22-го декабря узнавъ по положительному разслѣдованію, что означенная дочь Мендака въ тотъ-же самый день отправлена была изъ Новоалександровска, куда была привезена отцемъ,—въ Динабургъ,—гг. Толстой и Герштейнъ отправились вечеромъ того-же числа вмѣстѣ съ исправникомъ и ея родственниками, которые указали имъ мѣсто настоящаго ея пребыванія, въ одной изъ землянокъ, лежащей вблизи какого-то кирпичнаго завода. Оттуда увезли они ее обратно въ Новоалександровскъ, гдѣ она оставалась съ ними два дня, до 25 декабря.

Дѣвушка эта, которой отъ роду 13 лѣтъ, хотя въ статьѣ г. Гинзбурга показано только 9, на распросы сама подробно разсказала все съ нею приключившееся, слѣдующимъ образомъ: съ самаго младенчества, объявила она, была она жестоко преслѣдуема матерью, которая не только что безпощадно била ее, незаботясь объ ея воспитаніи, унижая ее передъ прочими сестрами, но по временамъ въ злости своей не давала ей даже и куска хлѣба. Гонимая такимъ образомъ, не зная материнской любви въ родительскомъ домѣ, она часто заходила къ крестьянамъ деревни, лежащей вблизи того односелья, гдѣ нашла она и радушный пріютъ и гостепріимное утоленіе отъ голода, и сочувствіе къ жалкому положенію и утѣшеніе въ претерпѣваемыхъ жестокостяхъ. Вслѣдствіе этого, свыкаясь все болѣе и болѣе съ жизнью этихъ добродушныхъ крестьянъ, отвыкнувъ отъ соблюденія обрядовъ Еврейской религіи и подражая часто симъ крестьянамъ въ исполненіи обрядовъ Христіанской вѣры,—она годъ, или полтора тому назадъ, рѣшилась совершенно отказаться отъ религіи родителей и принять христіанскую вѣру. Это свое желаніе открыла она означеннымъ крестьянамъ, просила ихъ отвести ее къ священнику, на что они сначала не соглашались, боясь за то мщенія отца ея; но наконецъ указали ей на одну женщину, которая отвезетъ ее къ священнику. Сговорившись предварительно съ ними, она ночью, съ пятницы на субботу, когда родители легли спать, выйдя чрезъ окошко, отправилась въ близь лежащую деревню и пришедши къ крестьянину Антону Рудаку, отправилась вмѣстѣ съ упомянутою, ожидавшею ее тамъ женщиною и съ сыномъ, или батракомъ Рудака, на приготовленной подводѣ къ Комайскому декану. На другой, или третій день послѣ прибытія ея въ домъ священника, пришли туда и родатели ея, вмѣстѣ съ становымъ приставомъ и спрошенная симъ послѣднимъ—чистосердечно сказала въ глаза родителямъ, что не насильно взята была изъ ихъ дома, а добровольно отправилась къ декану, и что нежелаетъ болѣе возвратиться къ родителямъ, но хочетъ быть христіанкою.

Такимъ образомъ оставалась она въ домѣ декана нѣсколько недѣль, обучаясь правиламъ христіанской вѣры, неиспытывая никакого притѣсненія, но напротивъ того наслаждаясь ласкавымъ обхожденіемъ всѣхъ встрѣчавшихъ ее лицъ. По прошествіи этого времени, отецъ ея Бинель пришедши въ домъ священника схватилъ ее насильно,вытащилъ на дворъ,откуда вмѣстѣ съ другими евреями поджидавшими его, увлекъ ее въ находящійся въ Комаѣ принадлежащій ему домъ. Тою-же ночью она отвезена была отцемъ въ Новоалександровскъ, гдѣ оставалась нѣсколько недѣль въ домѣ родственниковъ, не терпя никакихъ притесненій; но впослѣдствіи, родственники ея узнавъ, что изъ Комая пріѣдутъ искать ея въ Новоалександровскѣ, отправили ее подъ Динабургъ, откуда она наконецъ взята была допрашивающими.

Простодушіе заключающееся во всѣхъ ея выраженіяхъ и признаніяхъ, ручаются за сущую ихъ истину. Наконецъ она спрошена была г. Герштейномъ, желаетъ-ли быть христіанкою, или же оставаться еврейкою,—на что положительно отвѣчала, что нежелаетъ возвращаться въ родительскій домъ; но перемѣнила уже намѣреніе касательно крещенія, а желаетъ остаться еврейкою и быть помѣщенною въ другомъ какомъ-либо еврейскомъ домѣ.

За тѣмъ слѣдователи 25 декабря отправились вмѣстѣ съ исправникомъ и уѣзднымъ стряпчимъ, совмѣстно съ дѣвочкой въ Комай, для производства дальнѣйшаго изслѣдованія и для точнѣйшаго дознанія обстоятельствъ дѣла. Прибывъ туда, 26 декабря, они немедленно допросили отца означенной дѣвушки, по имени Бинеля Мендака, который въ своемъ показаніи, подтвердилъ изложенное въ донесеніи поданномъ имъ къ г. Ковенскому гражданскому губернатору, что дочь его Ципка, будтобы насильно похищена была крестьянами, вломившимися въ его домъ ночью и увезена ими къ священнику, гдѣ ее склонили къ принятію христіанской вѣры, и не смотря на улики своей дочери, повторявшей ему въ глаза чистосердечное свое признаніе, онъ постоянно запирался, оставаясь при первомъ своемъ утвержденіи. Но упущеніе въ его показаніи одного обстоятельства, изложеннаго имъ въ означенномъ донесеніи, именно о первоначальномъ похищеніи старшей его дочери, и невѣроятность прочихъ разсказанныхъ имъ обстоятельствъ дѣла, доказываютъ несправедливость его показаній. Наконецъ, послѣ свиданія означенной Ципки съ своимъ отцемъ, она вторично спрошена была, желаетъ ли принять христіанскую вѣру, или остаться еврейкою, и подтвердила послѣднее, сказавъ, что жалѣетъ отца.

На слѣдующій день, слѣдователи отправились къ декану Мацевичу, который показалъ по обстоятельствамъ дѣла согласно съ признаніемъ означенной Ципки. На первоначальный вопросъ священника,желаетъ-ли она Ципка теперь остаться еврейкою, или быть христіанкою, она подтвердила первое; но потомъ, обдумавшись, изъявила желаніе принять христіанскую вѣру, что подтвердила потомъ въ присутствіи своего отца, призваннаго на сей случай Комайскаго раввина и депутата отъ евреевъ. Эти два послѣдніе подписали вмѣстѣ съ слѣдователями, исправникомъ и стряпчимъ, снятый допросъ, представленный при рапортѣ.

Предъ отъѣздомъ слѣдователей изъ Новоалександровска, упомянутая Ципка, передана на попеченіе въ домъ мѣстнаго городничаго, до дальнѣйшаго распоряженія.

Мы представили эти подробности въ такомъ видѣ, какъ онѣ разсказаны въ рапортѣ,что все подтверждается подлинными допросами находящимися при дѣлѣ, которые мы имѣли предъ глазами.

Участіе въ производствѣ слѣдствія извѣстнаго своимъ благородствомъ и образованіемъ испр. долж. Виленскаго общественнаго раввина Герштейна, а также присутствованіе при снятіи допросовъ отца этой дѣвушки, Комайскаго раввина и депутата отъ евреевъ, подписавшихъ показанія, положительнымъ образомъ убѣждаютъ, что въ этомъ дѣлѣ немогло быть никакихъ насилій, или злоупотребленій со стороны настоятеля Мацевича, или кого либо другаго, а равно, что еврейка Ципка добровольно желаетъ принять христіанскую вѣру. Въ этомъ убѣждаетъ насъ еще слѣдующій, разсказанный намъ капитаномъ Толстымъ трогательный случай. Ципка была чрезвычайно привязана къ двухъ или трехъ лѣтней своей сестрѣ, которую нянчила, и потому просила, чтобы ее привезли къ ней. Въ присутствіи всѣхъ, когда отецъ подалъ ей малютку, она схватила его и съ воплями и рыданіями осыпала тысячами поцалуевъ, называла самыми чувствительными именами, и въ какомъ то нервномъ раздраженіи, долго, долго прижимала къ груди. Послѣ этой умилительной сцены, когда ей напомнили, что надобно же наконецъ положительно сказать, какую она избираетъ вѣру, дѣвушка еще разъ сильно поцаловала и приголубила ребенка подбѣжала къ своей шубкѣ висѣвшей на стѣнѣ и вынувъ отъ туда нѣсколько яблокъ, отдала ребенка отцу, а потомъ обращаясь къ священнику произнесла энергически: „хочу быть христіанкою!“— Это ея показаніе,по неграмотности ея, подписалъ Еврей Шевель Мовшовичъ Левитъ.

Замѣчательно, что еврейка Ципка найденная въ подземельѣ почти полунагою, была до такой степени запугана, что безпрестанно боялась ножа и смерти; она была въ какомъ то апатическомъ состояніи, почти безчувственная; но потомъ, когда уже окончательно объявила свое желаніе невозвращаться въ родительскій домъ и быть христіанкою, она вдругъ переродилась, стала веселою, говорливою, шутливою, обнаружила много признаковъ ума и наивности. Когда ее везли изъ Комая въ Ново-Александровскъ, по дорогѣ, гдѣ останавливались, ее дарили деньгами, она брала ихъ съ большею радостью и тотчасъ отдавала капитану Толстову.

Въ заключеніе мы должны прибавить, что учрежденное на мѣстѣ временное отдѣленіе производитъ дальнѣйшее слѣдствіе, для обнаруженія дѣйствительности взведеннаго Мендакомъ обвиненія въ похищеніи будто бы его дочери, что впрочемъ до сихъ поръ рѣшительно ничѣмъ не подтвердилось, а равно и о нападеніи Евреевъ на домъ декана.

Священникъ Мацевичъ,какъ обнаружено по дѣлу,дѣйствовалъ вполнѣ юридически, по существующимъ законамъ. Онъ тотчасъ донесъ консисторіи о желаніи Ципки принять христіанскую вѣру и получилъ на это

nie zgadza się wrócić do rodziców i objawiła chęć przyjęcia chrześcijańskiéj wiary.

Żyd Mendak drogą urzędową doniosł o tym wypadku zwierzchności.

Opis tego oburzającego wypadku przedrukowany został przez niektóre dzienniki rossyjskie z najrozmaitszemi uwagami i objaśnieniami, a wkrótce le Nord i inne zagraniczne dzienniki rozniosły po Europie wiadomość o téj nowéj Mortara. Artykuł w „Rozświcie“ podpisany był przez Ginzburga, który przyjął na siebie odpowiedzialność za rzeczywistość faktu. Sądząc z opowiadamia niepodobna było przypuszczać, ażeby główne obwinienie o nocną napaść i porwanie mogło być niesprawiedliwém lub nawet przesadzoném.

Po otrzymaniu w Wilnie wiadomości o tym smutnym wypadku, nie drogą urzędową wprawdzie, lecz z tegoż samego „Rozświtu“, p. Wileński wojenny, gubernator i jenerał-gubernator Grodzieński i Kowieński, natychmiast komenderował adjutanta swego kapitana Tołstoja, i dla uchylenia wszelkich zarzutów w téj sprawie noszącéj religijny charakter, dodał znajdującego się przy zarządzie swoim uczonego żyda Gersztejna spełniającego obecnie obowiązek Rabina gminy żydowskiéj, którym polecono było łącznie z Nowo-aleksandrowskim pow. strapczym odbyć najściślejsze śledztwo, i wrócić przytém porwaną dziewczynę rodzicom, jeśliby się ta rzeczywiście znajdowała u księdza Maciejewskiego.

Wróciwszy z téj komenderówki kapitan Tołstoj i uczony żyd Gersztejn podali p. jenerał-gubernatorowi szczegółowy raport, załączywszy doń i autentyczną sprawę. Jego excellencja p. jenerał-gubernator raczył zaś przesłać ten raport i całą sprawę do redakcji Kurjera Wileńskiego, dla zrobienia zeń treściwego wyciągu, ażeby czytelnicy mogli widzieć ten wypadek w prawdziwém świetle.

Z tego raportu i sprawy autentycznéj widzimy, że niezwłócznie po przybyciu swojém na miejsce 21-go grudnia, pp. Tołstoj i Gersztejn wezwali do siebie przez horodniczego, syna kupca Mendela Szajowicza Ginzburga, o którym, po uprzedniém staranném wypytaniu się w Wilnie, dowiedzieli się z pewnością, że to on właśnie napisał artykuł o pochwyceniu u żyda Mendaka małoletniéj jego córki. Na zapytanie, czy pisał ów artykuł i czy posiada bardziéj szczegółowe wiadomości tego wypadku i jego następstw tyczących się, odpowiedział, iż rzeczywiście artykuł ten napisał, powziąwszy doń wiadomość jak z listu, który ojciec rzeczonego dziecka pisał do Kowieńskiego gubernatora cywilnego, jako też z ogólnéj pogłoski, krążącéj podówczas w całem mieście; że teraz, jak to słyszał właśnie, dziecię to zostało przemocą odebrane przez żydów od księdza Macewicza nie zaś Maciejewskiego,jak mylnie było powiedzianém w artykule p. Ginzburga, i do niewiadomego mu miejsca uwiezione.

Dnia 22-go grudnia, dowiedziawszy się po dokładném wybadaniu, że rzeczona córka Mendaka tegoż samego dnia wysłana została z Nowoaleksandrowska, dokąd przez ojca była przywiezioną, do Dynaburga, pp. Tołstoj i Gersztejn udali się wieczorem tegoż dnia, wraz ze sprawnikiem i jéj krewnymi, którzy wskazali im miejsce obecnego jéj pobytu, w jednéj z lepianek, w pobliżu jakiejś cegielni położonych. Ztamtąd odwieźli ją napowrót do Nowoalenksandrowska, gdzie z nimi zostawała przez dwa dni, do 25-go grudnia.

Dziewczynka ta, wieku lat 13, chociaż w artykule swoim p. Ginzburg liczy jéj tylko 9 lat, wypytywana, opowiedziała szczegółowie wszystko, co się z nią kiedy zdarzyło, i oto, według słów jéj, od najrańszych lat dziecięcych, była okropnie prześladowana przez matkę, która niedość że biła ją niemiłosiernie, nietroszcząc się wcale o jéj wychowanie i poniżając ją w obec innych własnych siostr jéj, ale też niekiedy w zapędzie swéj złości ani odrobinki chleba jéj nie dawała. Prześladowana tym spososobem, nie znając miłości macierzyńskiéj w domu rodzicielskim, często zachodziła do włościan wioski, leżącéj w pobliżu owéj samotnéj osady, gdzie wreszcie znalazła i przytułek uprzejmy i gościnne zaspokoienie głodu, i politowanie nad swą niedolą, i pociechę w poniesionych przez nią okrucieństwach. W skutek tego coraz bardziéj przywykając do życia tych dobrych włościan, odzwyczaiwszy się od zachowywania obrządków religji żydowskiéj i często naśladując tych włościan w pełnieniu obowiązków wiary Chrystusowéj,—przed rokiem czy półtora podobno powzięła była myśl całkiem wyrzec się religji swych rodziców i przejść nałono wiary chrześcijańskiéj. Z téj szczeréj chęci swojéj wynurzywszy się przed owymi włościanami, błagała, iżby zaprowadzili ją do księdza, na co nie zgadzając się zrazu przez bojaźń zemsty jéj ojca, wskazali jéj nakoniec kobietę, która ją miała do księdza zaprowadzić. Umówiwszy się najprzód z nimi, w nocy z piątku na sóbotę, kiedy rodzice udali się do spoczynku, wylazłszy przez okno udała się do pobliskiéj wioski i przybywszy do włościanina Antoniego Rudaka, wraz z oczekującą już tam na nią kobietą i z jéj synem czy parobczakiem Rudaka, pojechała na przygotowanym wozie do księdza dziekana Komajskiego. Nazajutrz czy na trzeci dzień po jéj przybyciu do domu tego księdza, przyszli też tam jéj rodzice wraz z asesorem stanowym i na zapytanie tego ostatniego w obec rodziców szczerze wyznała, że z ich domu nie gwałtem była wzięta lecz dobrowolnie udała się do dziekana i że nie chce więcéj powrócić do rodziców, i żąda zostać chrześcijanką.

Tym sposobem przebyła w domu księdza przez kilka tygodni, ucząc się zasad wiary chrześcijańskiéj, niedoświadczając żadnego w niczém musu, owszem doznając łaskawego obchodzenia się z sobą wszystkich ją otaczających. Po upłynieniu tego czasu, ojciec jej Binel przybywszy do domu księdza, pochwycił ją przemocą, wyniósł na dziedziniec, skąd łącznie z innymi żydami, którzy nań tam oczekiwali, odprowadził ją do domu swego w Komaju, skąd tejże nocy zawiózł do Nowoalenksandrowska, gdzie przez kilka tygodni zostawała w domu swych krewnych, żadnych nie doznając tam zrazu przykrości, atoli gdy ci późniéj dowiedzieli się, że z Komaja przyjadą szukać ją w Nowoaleksandrowsku, wysłali ją w okolice Dynaburga, skąd nakoniec wziętą została przez osoby do badania jéj naznaczone.

Niewinna prostota odpowiedzi i wyznań, są rękojmią istotnéj prawdy wszystkiego, co powiedziała. Nakoniec przez p. Gersztejn zapytana, czy chce być chrześcijanką, lub pozostać żydówką? stanowczo odpowiedziała, że nie chce wracać do domu rodzicielskiego, lecz że odmieniła już zamiar co do przyjęcia chrztu świętego, chce pozostać żydówką i być umieszczoną w jakimkolwiek obcym domu żydowskim.

Następnie śledzący 25 grudnia udali się ze sprawnikiem i strapczym powiatowym, wraz z tą dziewczynką do Komaj, dla dalszego zbadania i dokładniejszego wyjaśnienia okoliczności téj sprawy. Po przybyciu tam 26 grudnia, niezwłocznie przystąpili do badania ojca rzeczonéj dziewczynki, imieniem Binela Mendaka, który ponowił zeznanie téj treści, w jakiéj już udawał się na piśmie do cywilnego gubernatora Kowieńskiego, to jest, że córka jego Cipka, przemocą jakoby została porwaną przez włościan, którzy wdarłszy się do jego domu w nocy, pochwycili mu ją i odwieźli do księdza, gdzie ją namówiono do przejścia na wiarę chrześcijańską i pomimo zarzuty swéj córki, która powtarzała mu w oczy szczere swoje zeznanie, on stale wypierał się, trwając przy pierwszém swojém dowodzeniu. Atoli zamilczenie tu przezeń jednéj okoliczności, o któréj mówił w pomienioném piśmie, to jest o pierwszém uwiezieniu starszéj jego córki, jako też niepodobieństwo do prawdy dalszych opowiedzianych przezeń okoliczności téj sprawy, przekonywają o fałszywości jego twierdzeń. Wreszcie, kiedy po widzeniu się już ze swym ojcem, Cipka powtórnie była zapytana, czy chce teraz przejść na łono wiary chrześcijańskiéj, lub czy przekłada pozostać żydówką? zgodziła się na ostatnie powiedziawszy, że ojca żałuje.

Nazajutrz śledzący udali się do dziekana Macewicza, który na okoliczności sprawy odpowiedział zgodnie z wyznaniem pomienionéj Cipki. Na pierwsze zapytanie księdza, czy życzy Cipka zostać teraz żydówką, lub być chrześcijanką, zrazu zgodziła się była na pierwsze, lecz potém namyśliwszy się, oświadczyła szczerą chęć przejścia na łono wiary chrześcijańskiéj,i to życzenie swoje wyznała potém w obecności swojego ojca, umyślnie przywołanego, oraz rabina Komajskiego i deputowanego gminy żydowskiéj. Ci dwaj ostatni podpisali wraz ze śledzącymi, sprawnikiem i strapczym, wywód badań, złożony przy doniesieniu.

Przed wyjazdem śledzących z Nowoałeksandrowska, Cipka oddaną została na opiekę do domu tamecznego horodniczego, do dalszego rozporządzenia.

Opowiedzieliśmy te szczegóły w takim kształcie, jak są wyłożone w raporcie; wszystkie wsparte są słównym wywodem badań znajdujących się przy sprawie, które bacznie przeglądaliśmy sami.

Uczęstnictwo w przewodzie śledztwa znanego ze szlachetności i światła pełniącego obowiązki rabina Wileńskiéj gminy Gersztejna, oraz obecność przy badaniu ojca téj dziewczynki rabina Komajskiego i deputowanego gminy żydowskiéj, którzy wywód zeznań podpisali, przekonywają najdostateczniéj, że w sprawie téj nie mogło być żadnéj przemocy czyli nadużyć ze strony księdza Macewicza, lub kogokolwiek bądź innego, jako też, że żydówka Cipka z dobréj woli powzięła chęć przejścia na łono wiary chrześcijańskiéj.

Jeszcze bardziéj przekonywa nas o tém następne, opowiedziane nam przez kapitana Tołstoja rzewne zdarzenie. Cipka była nadzwyczaj przywiązana do dwóletniéj czy trzyletniéj swojéj siostrzyczki, któréj była piastunką, przeto prosiła aby ją przywieźli do niéj. W obec wszystkich, kiedy ojciec podał jéj dziecko, pochwyciła je i zanosząc się od płaczu okryła je tysiącznemi pocałowaniami,mianując najpieszczotliwszemi imionami i z jakiemś nerwowém rozczuleniem długo, długo przyciskała je do swych piersi. Po téj rzewnéj scenie, gdy przypomniano jéj, że trzeba już nakoniec stanowczo oświadczyć, jaką obiera wiarę, dziewczynka jeszcze raz serdecznie ucałowała i przytuliła dziecię, pobiegła do wiszącéj na ścianie szubki swojéj i wyjąwszy stamtąd kilka jabłek, oddała dziecię ojcu, a potém obróciła się do księdza mówiąc stanowczo: „chcę być chrześcijanką.“ To jej oświadczenie, z powodu że pisać nie umie, podpisał żyd Szewel Mowszowicz Lewit.

Godném jest uwagi, że żydówka Cipka, w podziemnym lochu prawie w stanie pół nagim znaleziona, do takiego stopnia była zastraszona, że jak widziadła lękała się nieustannie noża i śmierci; znajdowała się w stanie jakiejś apatji, czucia prawie pozbawioną; lecz potém,kiedy już ostatecznie oświadczyła swe postanowienie niepowracania do domu rodziców i zostania chrześcijanką, odzyskała wesołość, została mówną i okazała wiele oznak zdrowego rozsądku i naiwności. Kiedy ją wieziono z Komaja do Nowoaleksandrowska, po drodze gdzie się zatrzymywano, obdarowywano ją pieniędzmi, które brała z wielką radością i natychmiast kapitanowi Tołstoj oddawała.

Poczytujemy sobie za obowiązek dodać tu jeszcze, że zawiązany na miejscu wydział czasowy prowadzi dalsze śledztwo, w celu wykrycia rzeczywistości tak względem uczynionego przez Mendaka oskarżenia, jakoby jego córka gwałtem była z domu porwaną, co zresztą dotychczas niezostało potwierdzoném najmniejszą okolicznością, jako też napadu żydów na mieszkanie dziekana.

Ksiądz Macewicz, jak się to z rzeczy okazało, działał w zupełności jurydycznie, według praw istniejących. Zawiadomił natychmiast konsystorz, iż Cipka żąda przejść na łono wiary chrześcijańskiéj, na co

разрѣшеніе; причемъ, какъ извѣстно, согласіе родителей нетребуется.

Послѣ этого, мы вправѣ ожидать, что газеты повторившія опрометчивый разсказъ г. Гинзбурга, налагающій тяжелое пятно на священника Мацевича, неоткажутъ въ перепечатаніи этой статьи.

Съ своей стороны мы обѣщаетъ сообщить читателямъ дальнѣйшія подробности этого дѣла, какъ равно и о судьбѣ этой дѣвочки.

też otrzymał pozwolenie, ni co jak wiadomo, zgodzenie się rodziców nie jest potrzebne.

Tak więc, mamy prawo spodziewać się, że dzienniki, które powtórzyły zbyt porywczy artykuł p. Ginzburga, tak niezasłużoną krzywdę czyniący księdzu Macewiczowi, nie odmówią miejsca w swych kolumnach niniejszemu usprawiedliwieniu.

My zaś z swéj strony niezaniechamy udzielić czytelnikom naszym dalszych szczegółów téj sprawy, i uwiadomić o dalszym losie téj dziewczyny.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

POGLĄD OGÓLNY.

Kiedy w roku 1840 dnia 15 października, świeżo zmarły król Frydryk Wilhelm IV odbierał w Berlinie hołd stanów niemieckich swego królestwa, wyrzekł w obec całego ludu następne słowa: „Czy chcecie mi pomagać do coraz wspanialszego rozwoju warunków, mocą których Prusy, liczące tylko 14 miljonów ludności, zespoliły się z wielkiemi mocarstwami świata? Czy chcecie mi pomagać do rozwoju, cześci, wierności, dążeń ku światłu, ku prawdzie i sprawiedliwości, postępu w mądrości, a razem męzkiéj siły? Czy nie opuścicie mię w tych usiłowaniach, lecz wytrwacie ze mną, równie w jasnéj, jak czarnéj doli? Odpowiedźcie mi wyraźném i najpiękniejszém brzmieniem ojczystéj mowy; odpowiedźcie szczerze i otwarcie: chcemy.“ Na te słowa odezwała się z tysiąca piersi długo powtarzana odpowiedź: „chcemy.“ Była to zapewne jedna z tych chwil uroczystych, pełnych téj poezji, która porywa narody, lecz przemija bez śladu i owocu. Dla ludzi myślących i o trwałość powodzenia ojczyzny dbałych, nierównie więcéj mieć musi znaczenia ta godzina, w któréj Wilhelm I, ośm dni temu, w obec zgromadzodzonego sejmu, ponowił obietnice wiernego zachowania oprzysiężonéj konstytucji i wezwał umocowanych kraju, aby podobnież na to przysięgli.

Nowy tron, otoczony wybrańcami ludu, przystępuje do piastowania sprawy powszechnéj. Król w żalu po niedawnéj stracie, w obec świętych, a wielkich obowiązków, znajdował się w usposobieniu pełném powagi i smutku. Pogląd jego na sprawy domowe, a więcej jeszcze na bieg rzeczy w Europie, jest posępny i niespokojny. W mowie, którą przy otwarciu izb powiedział, a któréj treść podamy czytelnikom naszym, przebija się pieczołowitość o całość granic Niemieckiéj ojczyzny i troska, że duch wstrząśnień i nieładu, znowu w Europie głowę podnosić zaczyna. Dla zabezpieczenia pierwszéj i dla stłumienia, w razie potrzeby, drugiego, król widzi dostateczne rękojmie w nowém, tak czynnie przez siebie od roku przeszłego popieraném, urządzeniu wojska: że zaś uwiadomił izby o pożądanym stanie skarbu krajowego, rozwój siły zbrojnéj nie dozna wstrętów i wydany dniem pierwiéj rozkaz powołania pod chorągwie 50 tys. młodzieńców, zostanie spełnionym. Zwykle w Prusiech zaciągi wojskowe odbywają się w jesieni, muszą przeto istnieć tajemne a naglące przyczyny zmiany dotychczasowego trybu. Zstępując z wysokości politycznych zadań do powszedniego biegu wewnętrznego zarządu kraju, król zapowiedział, że dwa prawa, które na przeszłym sejmie uchwalone być nie mogły, dla oporu izby panów, a mianowicie prawo o małżeństwach i zrównania podatku gruntowego, będą znowu w bież. roku wzięte pod rozwagę.

Jeżeli, jak sądzimy, treść mowy 14 stycznia dokładnie jest podaną, wyłożone w niéj myśli obok uspokojenia kraju pod względem wierności panującego dla nadanéj ustawy, słusznie pod innemi względami umysły niepokojem nabawić mogą. Król nie powiedział wyraźnie, z któréj strony całość granic niemieckich narażoną jest na niepewność. Zdaje się, że od Francji wszelkie obawy są płonne; jeżeli więc myśl, że granice niemieckie nie są nad Isonzo i Tagliamentem, ale nad Padem i Mincio, znalazła wstęp do jego przekonania, słusznie każdy prawy niemiec, pokój ziemi ojczystéj miłujący, zadumać się powinien. Ogólny duch uległości i posłuszeństwa dla prawa, zdaje się dziś panować w całéj Europie. Przebiegnijmy myślą wszystkie państwa, prócz jednéj Austrji, nie znajdziemy nigdzie podobieństwa nawet do oporu prawom; nawet Węgrzy, nie z orężem w ręku, ale z podpisami i oprzysiężonemi przez ich króla, Ferdynada V, ustawami 1848 roku, w drodze legalnéj żądają powrotu tego, co im w dniach ciężkiego doświadczenia odjęto. We Włoszech tylko wre wojna domowa, ale światodziejowa jéj doniosłość jest tak wysoką, iż w żaden sposób, mieszaną ze zwykłemi demagogicznemi zamachami być niepowinna. Tłumienie urojonéj ludowéj przekory już nader wiele łez, krwi i pracy pochłonęło, aby na nowo to widmo wskrzeszać. Wszyscy poczciwi wierzyć by woleli, że wyrazy króla Wilhelma, iż duch wstrząśnień i nieładu głowę w Europie podnosić zaczyna, więcéj mówią, niż powiedzieć chciały. Zapewne, Prusy mają przed sobą nie tyle wielkie, ile kłopotliwe trudności, lecz są one niezbędném następstwem związkowego urządzenia Niemiec. Najwyższa prawowitość uczuć, najniezłomniejsza wierność w dotrzymywaniu przyjętych obowiązków, nigdy Prus nie uwolnią od antagonizmu drugorzędnych niemieckich dworów, bo wiedzą one dobrze, że ziemia z pod stóp im ucieka i byleby raz do tego przyszło, że zasada objawiona na Apenińskim półwyspie, iż urządzenie sprawy Włoskiéj do Włochów tylko należy, rozciągniętą by została i do Niemiec; dosyć by łoby jednego słowa, wyrzeczonego w Berlinie, aby, jak opustoszały trony: Toskański, Parmeński i Modeński, tak i trony: Saski, Bawarski, Hanowerski i t. d. zniknąć by musiały. Król Wilhelm nie ściągnie do tego ręki, przeciwnie gotów jest ceną krwi własnéj bronić ich bezpieczeństwa i trwałości, ale nieufność istnieje i szczerość stosunków między związkowymi zatruwa. Akt federacji już czas swój przeżył i dzień każdy powiększa summę zawikłań, które takiemi więzami opaszą Niemcy, że tylko lwie rzuty zrozpaczonego narodu potargać je zdołają. Jeżeli Opatrzność innego kierunku biegowi federacji nie nada, Prusy długo jeszcze narażone być muszą na ciągłe wysługiwanie się drugorzędnym państwom Niemieckim i ciągłym być przedmiotem ich niewdzięczności i potwarzy. Do czego zaś federacja potężne plemię Niemieckie doprowadziła, widzimy najoczywiściéj w obecnym jego stosunku do Danji. Oto, sejm związkowy niemiecki jednomyślnie postnowił użycie względem Danji środków przymusowych, aby rząd Duński zadośćuczynił obowiązkom swoim względem niemieckich swych poddanych Szlezwigu i Holsztynu. Rządowi Pruskiemu poruczono wykonanie téj uchwały, która lubo jeszcze nie zapadła, ale najmniejszéj już nie ulega wątpliwości, że lada dzień mocy prawa nabierze. Król Pruski nie tylko cały swój kontyngens związkowy, około 100 tysięcy zbrojnych wynoszący, użyć na osiągnienie tego celu może, ale wolno mu poruszyć kontyngensa wszystkich państw skonfederowanych, także choćby całe trzykroć sto tysięcy wojska związkowego przeciw Danji powołał, całe te siły posłusznemi być muszą; a jednak ludzie rozsądni przewidują, że wyprawa Pruska okryć się musi wstydem i zadać krajowi, a nawet znacznéj części Niemiec, nie powetowane szkody. Skutkiem właśnie tak głośno sławionéj federacji, Niemcy nie mają floty, Duńczycy, przy wytężeniu środków obrony, jakich położenie jeograficzne im dostarcza, nie tylko mogą odeprzeć najazd Pruski, ale handel tego narodu nękać i brzegi jego napastować. Jeśliby przyszło do wojny, na Zundzie wznowili by w pewnym względzie przykład Termopyiów i królestweczko, zaledwie 2,000,000, rozpierzchłéj na ogromnéj przestrzeni ludności liczące, skutecznie by walczyć mogło z kilkudziesięcio miljonowem, na pozór tak spójnem, a rzeczywiście tak wewnątrz rozprzężonem, państwem Niemieckiego związku. Do ciekawych, jeżeli nie tak ważnych, objawów, należy, zaiste, pytanie Szlezwicko-Holsztyńskie; jest ono obfitem w pełne znaczenia nauki, i kiedy nie uda się téj zawikłanéj sprawy polubownie załatwić, może świat ujrzy, że pierwsze potęgi morskie zmuszonemi zostaną da narzucenia swego rozjemstwa. Dziwny bo łańcuch stosunków spaja z sobą najodleglejsze morza, a może ta spólna i prawie niczyja, własność, jakby na dowód, że w jego łonie spoczywają najstraszliwsze burze, wyziewa je niekiedy na blizkie lądy i aż do samych posad je wstrząsa.

Owoż, może troska o następstwach wyprawy przeciw Danji zachmurzyła pogląd królewski na blizką przyszłość swojego kraju, to jednak pewno, że jak z jednéj strony uroczysta obietnica, że ustawa święcie zachowaną będzie, napełniła serca narodu najczystszą radością, tak z drugiéj, wielkie i przyśpieszone uzbrojenia, tajemnicze wyrazy, zdradzające obawę o całość Niemiec, złowrogie przewidywanie wewnętrznych ludowych zaburzeń, nie tylko w Prusiech, ale i w Europie dotkliwe sprawią wrażenie. Złagodzi je na chwilę czyn prawdziwie królewskiéj łaskawości. Wilhelm I zagaił panowanie swoje miłosierdziem i wszystkim politycznym winowajcom z serca przebaczył. Że nadana amnestja nie będzie czczém słowem, ręczy za to uczciwość, jaka coraz przeważniéj panować w Prusiech poczyna.

Jeżeli sejm Berliński już prace swoje rozpoczął i, zapewne, korzystając ze służącego sobie prawa, początkowania czyli inicjatiwy, poruszy ważny przedmiot odpowiedzialności ministrów, w Anglji, gdzie ta rękojmia istnieje w całéj rozciągłości i mocy, widzimy, że parlament sumiennie przygotowuje się do tegorocznych posiedzeń i szczerze o pomyślności kraju myśli. Podajemy dziś adres, mający się złożyć lordowi Palmerston, przez liberalne stronnictwo .izby niższéj. To pismo poufne, a serdeczne; uderza w samą rdzeń dobra narodu, bo zmierza do zaprowadzenia rządnéj oszczędności. Członkowie parlamentu, którzy głos do pierwszego ministra podnieśli,, ograniczyli się tym jednym przedmiotem i otwarcie powiedzieli, że na ich spółdziałanie pod tym jednym warunkiem gabinet liczyć może. Żądanie najsprawiedliwsze, ale droga zwiększenia wydatków publicznych, jest tak ślizka, iż gdy jaki kraj raz na nią stąpił, pędzi go już niewstrzymana siła i w obce tylko najoczywistszéj niemożności, ruch, w tym kierunku ustaje. Tymczasem, nie wątpiąc o najlepszych chęciach lorda Palmerstona, musi on przewidywać, że bodaj czy nie przyjdzie do żądania nowych pieniężnych poświęceń od kraju. Wprawdzie, nakładna wojna Chińska, w ciągu któréj utrzymanie każdego żołnierza opłacało się dziennie po 10 f. ster., już nie tylko ustała, ale nawet korzyści w rozszerzeniu granic i handlu, oraz zwrót kosztów w gotowych pieniądzach przyniosła. Spokojne załatwienie rozruchów w Indjach, wynikłych z powodu zaprowadzenia podatku dochodowego, oświadczona gotowość kupców Indyjskich, że spółziomków swych do składania rzeczonego podatku skłonią, zapowiada pokój w téj potężnéj, niebezpiecznéj posiadłości, i skarb Indyjski skutecznie zasili. Wszakże chmury, grożące straszliwemi dla Anglji i całéj Europy klęskami, zbierać się poczynają w Stanach zjednoczonych Ameryki. Południowe kraje téj rzeczypospolitéj wydają w nieobliczonéj ilości bawełnę, która stopniowo zamieniła się w jednę z najniezbędniejszych potrzeb życia w Europie. Miljony mieszkańców téj części świata odziewają się bawełną; ona stanowi ich pościel, ubiera ich domy; tak dalece, że gdyby tego ziemiopłodu zabrakło, ludzie znaleźliby się w ciężkim kłopocie, nie umiejąc czém innem tak rozmaitych, a codziennych potrzeb zastąpić; ale jest jeszcze wzgląd inny: oto, we wszystkich krajach Europy, gdzie przemysł rękodzielny doszedł do mniejszego lub większego rozwoju, powstało tysiące przędzalni, które miljonom rąk dają pracę, miljonom rodzin chleb powszedni. Tymczasem w Stanach Ameryki południowéj, bawełna jest uprawiana przez niewolników; ludność biała nie jest jeszcze dość liczna, aby wolną i opłacaną pracą potrzebowaniom Nowego i Dawnego świata wystarczyła. Właściciele niewolników, w samolubstwie swojem, nie chcą na żaden układ przyzwolić; do tego stopnia zapamiętałości przyszli, że wolą zerwać związek ze Stanami północnemi, gdzie głos prawdy chrześcijańskiéj niewolnictwo za zbrodnię, wołającą o pomstę do Boga, poczytuje i za pierwszy obowiązek uznawać każe pracowanie ze wszystkich sił i z całéj duszy nad jego wytępieniem. Skoro więc Stany południowe w zapamiętałości swojéj, obstając przy niewolnictwie, jak przy arce przymierza, oderwą się od Stanów północnych, wnet murzyni rozpoczną do tych ostatnich wychodztwo w najrozleglejszych wymiarach. Zasada uświęcona w Stanach północnych, że ktokolwiek na ich ziemi stopą stanie, już tém samém staje się wolnym obywatelem rzeczy pospolitéj, nie dozwoli im ani wychodztwa odepchnąć, ani zbiegłych niewolników wydawać, bo tego i sprawiedliwość wzbrania i żal, jaki do mieszkańców południowych za podeptanie braterskiego węzła czuć muszą, uczynić im nie dozwoli. Gdyby więc nawet udało się właścicielom ziemskim, oderwawszy się od związku, uniknąć wojny z północnymi spółbraćmi, gdyby ci ostatni nie przedsięwzięli zbrojnie ich przymuszać do wyzwolenia niewolników, zawsze władza ich nad murzynami w saméj podstawie zachwianą zostanie, a ta niepewność posiadania, *ta ciągła trwoga, czy pola nagle nie spustoszeją*, czy prace w połowie swego biegu przerwane nie zostaną, muszą najzgubniéj wpłynąć na ilość zbiorów bawełny. Cóż, gdy, jak to w stanowczych dziejowych chwilach bywa, murzyni powstaną? Dajmy, że przewagą głowy i ręki, użyciem oręża i chłosty, powstanie krwawo stłumioném będzie, już sama przerwa w robotach, zmniejszenie liczby rąk pracownych, kalectwo i wyzucie ze zdrowia, podwójnie, a najszkodliwiéj na Europę oddziałają. Bawełna, przy zmniéjszeniu jéj plonów, nie wymiernie podrożeje, a dostarczana w zmniejszonéj ilości, uderzy całém brzemieniem na chleb miljo-

Złote kajdany.

Tragi-komedja w 5 aktach

WIERSZEM MIAROWYM

przez

J. Korzeniowskiego.

Scena trzecia.

P. JAN FILOZOFICKI (sam).

PAN JAN

(popatrzywszy za wychodzącym i przeszedłszy się po pokoju, staje).

Dziwna rzecz! — Jakaś postać zagadkowa.
Z ruchów i mowy żyd, a gada mądrze
I o miłości chrześcijańskiéj prawi.
Dla czego mnie, nie siebie chce zbogacić?
Mówi, że ma już dosyć. To zabawne!
Żyd ma już dosyć i nie pragnie więcéj.
Zna mnie i siebie, wierzy, że ja lepiéj
Niż on, potrafię użyć dla swych bliźnich,
Co da przypadek, co niepewna szansa
Losu przyniesie.— Coś w tém jest. To wszystko
Wychodzi jakoś ze zwykłego trybu.

(Bierze bilety i przegląda).

Bilety dobre, na ukaziciela;
Termin niedługi. Mogą w rzeczy saméj
Przynieść ogromną summę, i dostarczyć
Środków użycia z sercem i rozumem
Téj wielkiéj siły, jaką pieniądz daje,
Ale dla czego złożył je w mém ręku?
Ja takich zysków niémam za zarobek
Prawy, uczciwy, którym bym sumiennie
Mógł dysponować. Ja w wygranéj każdéj
Widzę złodziejstwa trochę i rabunku.
Wprawdzie niewinien temu, kto wygrywa,
Że ludzie sami siebie okradają
I za nadzieję płacą gotowizną.
Alebym sobie nigdy nie darował,
Gdybym ztéj summy użył co dla siebie,
Dla swéj wygody, dla swéj przyjemności.
Depozytorem tylko byłbym składki
Tych, co jéj lepiéj użyć nie umieli;
Kasjerem tylko byłbym zbiorowego
Majątku bliźnich, i potrzebującym
Oddałbym wiernie, co jest ich własnością.
Czy ten miał powód?— Może.— Wszak powiedział,
Że zna mnie dobrze i dla tego przyszedł.
Jeśli dla tego przyszedł, to doprawdy,
Przez dziwną zmianę myśli, żądz i celów
Przeszły te mądre dzieci Izraela.

(Chowa bilety do biórka).

Bądź, co bądź, niechaj leżą. Jeśli przyjdzie,
Będzie co z dymem puścić, i zapalić
Niemi sygaro, jak to sam powiedział.
Bo byłbym głupim, gdybym się spodziewał,
Że na téj wierzbie gruszki się urodzą.

(Otwiera portfel, przegląda papiéry, i zamykając go — po chwili).

A gdyby też z nich wygrał którykolwiek?
Naprzykład owa obligacja banku,
Co daje miljon?— Czemu nie?— Los ślepy
I niewié o tém, na czyj numer kładzie
To, co tysiącom wziął od gęby może,
Ażeby jeden więcéj miał, niż trzeba.
Za miljon byłby pęk zastawnych listów
A lub B, które dałyby cztérdzieści
Tysięcy rocznie, łatwo i bez pracy.
To znaczy przeszło po sto złotych na dzień!
Dzisiaj wydąję dziesięć do trzynastu,
I mam wszystkiego dosyć. Na cóż wtedy
Mógłbym obrócić osiém razy więcéj?
Ba! naturalnie nie dla siebie. Tyle
Biédy jest u nas, takie wszędzie luki
W nauce, w sztukach, które wymagają
Wsparcia, zachęty, ciszy i pokoju,
Że będzie gdzie umieścić tych dochodów
Dobrą połowę.

(Kładzie portfel, i postąpiwszy zwolna naprzód w zamyśleniu, podnosi głowę i staje).

Ja sam wtedy, pocóż
Miałbym do bióra chodzić, żeby na mnie
Co najtrudniejsze kładli interesa,
I potém jeszcze, żeby się dyrektor
Krzywił i mruczał, kiedy nie wyrobię
Na czas, jak kazał, choć mu się tłumaczę,
Żem i do domu z sobą brał papiéry,
I parę nocy z niemi się przemęczył.
Sześć godzin dziennie przykuć się do stołka,
To skraca życie o sześć dni miesięcznie.
I na cóż grzeszyć takiém samobójstwem,
Gdy niéma musu.

(Ogląda się w około).

Lokal to wygodny
Dla mnie, jak teraz; ale byłby ciasny,
Gdyby stosunki wzrosły wraz z dochodem,
Już wcale inne miałbym znajomości,
Któreby trzeba przyjąć odpowiednie,
I za gościnność, jaką mi okażą,
Odpłacić to śniadankiem, to obiadkiem,
To wieczorynką, gdzieby pewnie przyszło
Sprosić i damy, by weseléj było.
A jakże przyjąć je kawalerowi,
Jak wreszcie ciągnąć ten samotny żywot,
Bez celu; komu, to czém los obdarzył,
Zostawić, kiedy śmierć zapuka do drzwi,
A nikt nie pójdzie za mną na Powązki,
I obcy wezmą, coby należało
Krwi mojéj własnéj i potomstwu memu?
Trudno bez żony — i bez takiéj, która,
Jeśli nie rodem, to swém wychowaniem
Odpowié wszystkim wymaganiom domu
Na takiéj stopie, i stosunkom nowym,
W które, chcąc nie chcąc, trzeba wejść koniecznie.
Dziś chodzę sobie do obserwatorjum,
I to mi służy. Ale jakże wówczas
Ciągnąć za sobą żonę na piechotę,
Jak na wieczory pójdzie wystrojona,
Lub do teatru, kiedy niepogoda?
Dorożki brudne, i najczęściéj wtedy,
Kiedy dészcz, niéma żadnéj do najęcia.
Trudno się będzie obejść bez karéty,
I bez lokaja, coby z nami jeździł,
I bez drugiego, coby w domu siedział,
Pilnując miejsca swego w przedpokoju.

(Pomyślawszy chwilkę).

A czyż wystarczy na to wszystko procent
Czwarty z miljona?— *Wątpię.— A jeżeli*
I drugi bilet wygra, a i trzeci,
I czwarty także?— bo to wszystko szanse
Równe, i los ma ręce rozwiązane.
Jemu to wszystko jedno, każdy numer
Do jego łaski ma jednakie prawo.
Toby dopiéro była rzecz ciekawa!
Rzadka zapewne, lecz praktykowana.
Cztérdzieści bitew wygrał nasz Bolesław,
Cezar nie przegrał żadnéj, a Napoleon
Na kilkadziesiąt tylko dwie, nie więcéj,
Dla czegoż mnieby miało się niezdarzyć,
Czego doznali inni. Z jednakowéj
Gliny zlepieni wielcy, jak i mali.
Wtedy to przeszło stotysięcy złotych
Na rok, skupiłoby się w moim ręku.
Byłoby z czego dawać i pomagać;
Zachęcać sztukę, wzmódz literaturę;
Stać się postępu środkiem i ogniskiem,
I dom urządzić tak, by w nim i magnat
Znalazł przyjęcie, do jakiego przywykł;
By w nim artysta miał dla siebie wzory,
Uczony źrzódła do swych prac mozolnych,
Każdy uprzejmość, a ubogi przystęp
Łatwy, codzienny, zgodny z tą miłością
Bliźniego, która jest najwyższém prawem.
A gdybym jeszcze wówczas nie przestawał
Na odstrzyganiu tylko mych kuponów,
Lecz i do pracy wziął się, do przemysłu,
Wszedł do kompanji w jakiém przedsięwzięciu,
Albo naprzykład, gdybym tu, w Warszawie
Kupił Skwarcowa pałac?— Właściciele
Skarżą się chórem, że i pięć procentów
Nie mają z domów. Kłamstwo. Mają dziesięć.
Wtedy i jabym co najmniéj podwoił
Swoje dochody. Wtedy to dopiéro
Byłoby dla mnie i dla drugich.

(Patrzy na zegarek).

Gwałtu!

Już jedynasta. A! niech djabli porwą.
Od lat dziesięciu piérwszy raz do biora
Przyjdę tak poźno!

(Biorąc śpiesznie portfel, kapelusz i frak).

Co to tam pomyślą.

Przeklęty żydzie! coś ty mi narobił!

(Wychodzi — zasłona spada).

ców wyrobników i do rozpaczy je przywiedzie. Mniéjsza o to, powie nie jeden, że wielcy kapitaliści ujrzą nagle zamienione w pustkowia swe rękodzielnie; że nie będą zbierać tych ogromnych codziennych zysków, co im pozwalają przewalać się na złocie i szalonym zbytkiem obrażać sumienie ludu. Nie o to tu wcale chodzi, nie o skutki nieużytości jednych, a zazdrości drugich, ale o to, aby całe pokolenia roboczéj ludności nie marły głodną śmiercią, lub aby rozpacz nie zburzyła tego społecznego, porządku, na którego utrzymaniu cywilizacja świata polega. O! straszne są skutki raz popełnionéj niesprawiedliwości. Dziś rzeczy doszły do tego zamętu, że rozeznać trudno, czy pragnąć należy zniesienia niewolnictwa, czy, w widoku jeszcze większych zbrodni i nieszczęść, starać się o zwłokę tego świętego obowiązku, aby zbyt nagłe jego spełnienie, lekarstwa, o które ludzkość woła, w truciznę nie zamieniło.

Słabe światełko zabłysnęło w sprawie Gaeckiéj. Mimo całą niejasność noty Monitora, którą umieściliśmy w dzisiejszym Kurjerze, z pewnością twierdzić można, że w przeszłą sobotę flota francuzka odpłynęła. Rozproszył niepewność naszą w tym względzie francuzki Petersburski dziennik, któryprze drukował list Berlińskiego korespondenta do gazety Kolońskiéj, opisujący, choć po krótce, bieg rokowań pod tym względem. Oto jest treść téj wiadomości: „Kiedy, przed niejakim czasem, cesarz Napoleon objawił królowi Franciszkowi II, że osobiste okazane mu orędownictwo, nie może doprowadzić do politycznéj, na jego korzyść, interwencji i że po zawarowaniu jego honoru, dalszy opór wywołał by daremny krwi rozlew, wówczas król przez telegraf udał się do mocarstw z prośbą o interwencję. Wnet przeto Rossja, Austrja i Prusy, a mianowicie pierwsza, przyjęły na siebie obronę króla w Paryżu. Poseł Pruski, hr. Pourtalès, na tém, zresztą, poprzestał, że odczytał słówną notę, obejmującą w sobie instrukcję swego rządu i mającą na celu tylko obronę osoby królewskiéj. Francja w odpowiedzi swojéj oświadczyła, że przez wzgląd na to wstawienie się, nie odwołała jeszcze swego admirała, lecz nie może przyjąć obszerniejszych zobowiązań, głównie z téj przyczyny, że, wspólnie z Anglją, uznała zasadę nie interwencji. Cesarz przyrzekł, że o dniu cofnięcia swéj floty zawiadomi Franciszka II dwóma lub trzema tygodniami pierwiéj. Tak więc, to zapowiedziane ostrzeżenie już nastąpiło i Franciszkowi II nic nie pozostaje, jak tylko opuścić tę ziemię, która przez długie lata jeszcze pamięć jego dumy i samolubstwa przechowa.

Włochy.

Medjolan, *5 stycznia*. Dziennik *Lombardja* pisze: Pragnąc wynurzyć królowi wdzięczność naszego miasta, junta municypalna złożyła mu następny adres: „Wracasz, najjaśniejszy panie, z najpiękniejszéj części Włoch, która stała się panią saméj siebie; wracasz, jak zwykłeś, otoczony miłością ludu i zwycięztwem. Jednomyślne okrzyki wskrzeszonego narodu pozdrawiają cię swym królem. Królem cię obwołują Włosi wolni i Włosi, co jeszcze cierpią i czekają. Cały półwysep przysięga, walczy i tryumfuje w twojém imieniu. W tém zjednoczeniu serc i oręża gotowych walczyć za ojczyznę, pozwól, n. p., aby Medjolan przypomniał się tobie. Długo nękany nieszczęściami, wzywał podczas dni boleści twojego imienia, tak obfitego w nadzieję i łaskę. Zachował on prawo powiedzieć tobie, posłanemu na pomoc cierpiących braci: „Jesteśmy z tobą!" Bądź nas zdrowy rozum cywilizowanéj Europy oswobodzi, bądź głos powinności wezwie do ostatnich ofiar, pójdziem za tobą, z radością wołając: Błogosław, Boże, króla włoskiego!"

„Król okazał żywe zadowolenie i oświadczył, iż szczęśliwym jest ze zdarzenia, w którém może wynurzyć uczucia swojéj miłości dla Lombardji i podziwienie dla męztwa dowiedzionego przez żołnierzy lombardzkich, wyrównywających odwagą starym i najwaleczniejszym wojownikom piemonckim. Dodał, że jest pewnym, iż rząd pragnący krzewić cnotę prędko uleczy, w prowincjach neapolitańskich, rany zadane przez rząd zepsuty. Przyszłość nasza, rzekł król, poruczona jest własnemu naszemu rozsądkowi: zostawszy wielkim narodem, będziemy mogli przedsiębrać stanowcze postanowienia, nie narażając naszych przeznaczeń."

Turyn, 5 stycznia. Począł tu wychodzić nowy dziennik *Monarchja narodowa* (Monarchia Nazionale), dziennik, o którym sądzono, że stawiać będzie żwawą opozycję gabinetowi hr. Cavour i że zjednał sobie orędownictwo pp. Ratazzi, Pepoli, a nawet barona Ricasoli i innych. Być to może, ale z 5 numerów, znajdujących się już w ręku czytelników, umiarkowanie, jakie objawia, wnioskować dozwala, że oppozycja jego będzie tylko bodźcem, przeznaczonym do skierowania polityki włoskiéj, na drogę zupełnéj jedności, opartéj na swobodzie politycznéj i decentralizacji zarządu. W tym duchu, nowy dziennik może wielkie złożyć usługi Włochom i hr. Cavour. Nadto wyznać potrzeba, że głos takich mężów, jak wyżéj wymienieni, ma prawo być słuchanym i nie mogli oni stosowniéj postąpić, jak obierając drogę prassy, będącéj najwłaściwszym organem mniemania powszechnego. Wiadomo, że teraz właśnie do Toskanji, Marchji i Umbrji naznaczono intendentów; słowem, urzędy administracyjne zaprowadzają się na ten sam sposób, jak w dawném królestwie. W skutek czego pp. Ricasoli i Pepoli składają urzędy gubernatorów; p. Valerio kommisarz w Ankonie, wraca na swą uprzednią posadę, gubernatora w Como, z któréj oddalił się czasowie dla służenia, z prawdziwą gorliwością, w Marchjach sprawie włoskiéj; służył zaś jéj tak skutecznie, iż poruszył żółć hr. Rechberg. Rzeczywiście, ten minister, będący na skonaniu swéj władzy, przesłał okólnik do pełnomocników austryjackich, przy dworach Związku niemieckiego, okólnik powtórzony przez wszystkie dzienniki z *Gazety Augsburgskiéj*. W rzeczonèm piśmie hr. Rechberg zwraca uwagę rządów niemieckich na to, że p. Valerio rości prawo do Tyrolu południowego i do Istrji, co wyraził w urzędowym dokumencie. *Goniec marchijski* (Corriere delle Marche), podniósł to oskarżenie. O co chodzi? zapytuje ten dziennik. Chodzi o dekret p. Valerio, mocą którego potwierdzone zostały prawileje towarzystwa Lloyda austryjackiego, w portach marchijskich, udzielone mu przez rząd papieski. Dekret, pomówiony przez hr. Rechberg, jest z d. 8 październik, i poprzedzony następnym wywodem: „Zważywszy, że rząd papieski udzielił Lloydowi austryjackiemu niektóre swobody i przywileje w przedmiotach żeglugi i urządzeń zdrowia; zważywszy, że lubo w państwie dobrze urządzoném nie należy dozwalać żadnych wyjątkowych przywilejów, są jednak wypadki, w których dopuszczać je potrzeba, byleby nie nadwerężały dobra ogólnego; zważywszy pożyteczność i rozciągłość handlowych obrotów Lloyda austrjackiego, co nie jest bynajmniéj zakładem państwa, którego nosi nazwę, lecz należy ze swéj istoty do całego handlowego świata; zważywszy, że wielkie, włożone weń kapitały, są po większéj części kapitałami włoskiemi i że miasto, gdzie rzeczone towarzystwo ma swoje siedlisko, dało liczne i niewątpliwe dowody, że poczytuje siebie za należące raczéj do Włoch, niż do Niemiec, z któremi znajduje się związaném przez traktaty i t. d." Taki jest tekst, mówi *Goniec*. Kilka słów z tego powodu. W Trieście mówią po włosku, ale Triest nie jest włoskim, podług hr. Rechberg. My inaczéj myślimy; mamy Triest za miasto włoskie, z położenia jeograficznego, z obyczajów, języka, równie jak z uczuć i życzeń. P. Valerio wyraził więc czyn rzeczywisty, uznany, który może być niemiłym dla ministra austryjackiego, ale któremu zaprzeczyć niepodobna. Słowem, p. Valerio udzielił korzyści poddanym austryjackim, hr. zaś Rechberg na to się żali. Byłoby to trudném do pojęcia, gdybyśmy nie wiedzieli, że niektóre rządy oddzielają widoki ludów od własnych i że mają dla swych krajów prawidła różne od tych, jakie stosują do prowincij różnorodnych, przyłączonych do swych dawnych posiadłości. Hr. Rechberg chciał kwilić i ściągnąć uwagę i litość Europy nad Austrją; ale zachód był daremny.

Garibaldi przesłał następny list stowarzyszeniu wyrobników genueńskich, w odpowiedź na adres, proszący go o przyjęcie honorowéj prezydencji:

„*Caprera, 30 grudnia.* Bracia, posiadacie moje przywiązanie i posiadać je będziecie całe życie. Nie wątpię o waszém. Być przez was kochanym, przewyższa wszystkie nagrody ludzkie, a ta jest jedyną, któréj dobijam się w całém mojém istnieniu, poświęconém Włochom. Z wdzięcznością przyjmuję godność, którą mnie zaszczycacie. Nosić ją będę z dumą w waszych szeregach, w dniu już niedalekim, w którym Włochy powołają nas wszystkich dla skruszenia ostatnich ogniw ich kajdan. Wasz,

J. Garibaldi."

Krążą listy kandydatów na poselstwa do parlamentu włoskiego, puszczone w obieg pod imieniem Garibaldiego. Ułożone są dosyć porządnie; Bixio znajduje się na ich czele, podobnie jak wszyscy główniejsi pomocnicy bohaterskiéj wyprawy. Z pomiędzy osób co do niéj nie należały, widzieć się daje nazwisko p. Scialoja, który, jak wiadomo, jest otwartym stronnikiem hr. Cavour. Dziennik il *Diritto* ponawia prawdziwość tych listtów twierdząc, że Garibaldi pozostanie, zgodnie z uczynionèm przez siebie oświadczeniem, obcym ruchowi wyborczemu.

Gaeta, 3 stycznia. W liście pisanym do dziennika la *Presse*, donoszą, że parostatek *Hrabia Cavour* i fregata *Wiktor-Emmanuel* przybyły tu z ogromną ilością zapasów wojennych. Mówią, że na pokładzie znajdują się działa wynalazku Cavalli, o których dzienniki niedawno tyle opowiadały. Działa, bijące prawie o 5000 metrów, mają być ustawione w baterje na wyniosłéj płaszczyźnie, Villa-Caposole, przy głównéj kwaterze Cialdiniego. Z tego miejsca, Piemontczycy mogą otworzyć morderczy ogień; na który oblężeńcy odpowiadać nie zdołają. Dziś zrana rozeszła się wieść, że admirał, Barbier de Tinan, otrzymał rozkaz opuścić zatokę gaecką i udać się do Neapolu. Trudno zgadnąć ile w niéj jest prawdy; powtarzano ją bowiem już nieraz i znowu cofano. Dodają, że Franciszek II postanowił opuścić Gaetę i poruczyć jéj obronę nowo tu przybyłemu jen. hiszpańskiemu, głowie zapalonéj, którego królowa hiszpańska przysłała swemu krewnemu w noworocznym upominku.

Świeżo otrzymane z Neapolu wiadomości są niedobre. Stronnictwo reakcyjne zdaje się być tam ciągle czynném. Zawczoraj zdawano się czekać sanfedistowskiego powstania. Policja p. Farini szczęśliwie przejęła plan spiskowych, którzy mieli spółcześnie opanować zamek *Ovo*, pałac królewski i twierdzę św. Elma; lecz ten zamiar zniweczono i czteréj jenerałowie neapolitańscy, hersztowie spisku, zostali uwięzieni. Są to dwaj bracia Marra de Liguero, z których jeden należał do układów o kapitulację Kapui, tudzież jenerałowie Palmieri i Polici. Chociaż te zamachy nie mogą mieć nic stanowczego nie mniéj jednak pomnażają niepewność położenia, już dosyć wytężonego i niepokojącego. Trudno jest rządzić Neapolitanami i p. Farini naprożno łamie głowę dla odkrycia, czego pragną. Sycyljanie podobnież nie łatwiéj dają się kierować i ciągle wymyślają nowe trudności, nowe obja-

---

AKT II.

(Przed dworkiem szlacheckim, na wsi. Dworek z tyłu z ganeczkiem w środku i po jedném oknie z obu stron ganku, przed którym parę drzew stoi. Z lewéj strony widzów ogródek, ogrodzony zwyczajnym płotem; z prawéj budyneczki gospodarskie).

(Przy podniesieniu kortyny, z ganku wychodzi Marta, w prostém szlacheckiém ubraniu, a za nią Stach, podobnież odziany).

Scena pierwsza.

MARTA, STACH.

MARTA (postępując naprzód).

Czemuż nie gadasz?— ej fe!— wstydź się Stachu!
Czy to ty nie wiész, że ja ciebie kocham
Jak własna matka?

STACH.

Kiedy bo się boję,
Że pani Marta na mnie się rozgniewa.

MARTA.

Ja się rozgniewam?— Patrzcie, oto znalazł
Prędką do gniewu. Zwiesił nos na kwintę,
Chodzi, jak nie swój, już od trzech tygodni;
A gdy się pytam, co mu się zrobiło,
On odpowiada: kiedy bo się boję,
Bo jak wam powiém, to się rozgniewacie.
Tfu!— Czyś co złego zrobił, czyś ukrzywdził
Mnie, albo kogo?— Czy zasypiasz ranek
I nie pilnujesz gospodarstwa? albo
W karczmie na kredyt bierzesz, i już niémasz
Czém się wykupić?— To idź do spowiedzi,
A Pan Bóg szczeréj skrusze dopomoże,
I ksiądz odżegna złego, co cię trapi.

STACH.

Ej! gdzie tam!

MARTA.

Gdzie tam!— No, to cóż?

STACH.

Widzicie,
To takie licho, że jak się uczepi
Głowy i serca, to się już jak smoła
Trzyma, i niczém nie da się odżegnać.

MARTA.

Cóż to? czy jaka kłótnia, albo proces?

STACH.

Ej! gdzie tam, nie to. Dobrych mam sąsiadów
I wszystko jakoś idzie mi po myśli.
Domek mój mały prawda, lecz chędogi;
Koniki raźne i bydełko zdrowe.
Szlacheckie mienie, które mi zostawił
Nieboszczyk ojciec, mnoży się i rośnie.
Ja téż do pracy zrywam się przededniem;
A gdy przychodzi wieczór, to nie idę
Do karczmy hulać, albo na gawędzie
Tracić czas marnie; lecz przychodzę do was
Spytać, czy wam nie trzeba w czém nazajutrz
Pomódz, i wdowiéj głowie w czém poradzić.
A potém wracam obejść swą zagrodę,
Opatrzyć pilnie cały swój dobytek,
I poleciwszy sen swój Panu Bogu,
Znowu przed słońcem wstaję do roboty.

MARTA.

No, widzisz Stachu, nibyż to ja niewiem,
Żeś ty poczciwy chłopak, i choć młody,
Masz więcéj statku w sercu i rozumu
W głowie, niż starzy, których mój nieboszczyk
Bał się, jak ognia, bo im tylko burda
I wódka we łbie, a złość grała w piersiach.
Jaką bym była radę sobie dała,
Ja biédna wdowa, gdy mnie mój odumarł,
Żebyś był zaraz ręki mi nie podał?
Tyś jak syn stanął przy mnie w moim smutku
I wsparł swą siłą babską moją niemoc.
I miałeś dosyć czasu, sam sierota,
Żeś i sieroce moje gospodarstwo
Wziął w swoje ręce, i tak rok już szósty
Prowadzisz, że się nic nie uroniło.
Myślisz, że Pan Bóg tego ci nie liczy?
I za to, żeś ty dobry i poczciwy,
Żeś gospodarny, pilny i stateczny,
Zeszle na głowę twoją taką troskę,
Któréjby miłość moja nie ulżyła?
Ej! mów-no śmiało, jakie to tam licho
Przylgło, jak smoła, do twojego serca.

STACH.

Ślicznie dziękuję, dobra pani Marto,
Że przyjmujecie szczére moje chęci.
Nie tak to wielka rzecz, co dla was robię,
Żeby mi trudna była, albo warta,
Żebyście o niéj siła tak mówili.
Wy mi płacicie za to swą miłością,
A to zapłata większa, jak przysługa.
To téż jak matce powiém wam serdecznie,
Co mnie tak boli. Oh! a boli bardzo!

MARTA.

Coż to takiego?— mówże już, nie wzdychaj,
I tak nie zwieszaj głowy, jakbyś nie śmiał
Spójrzeć mi w oczy.

STACH.

Biéda moja cała,
Żem nie uczony.

MARTA.

Co? co?— co ty gadasz?

STACH.

Że nic nie umiém tylko trochę czytać,
I nagryzmolić krzywo swe nazwisko.

(Z żalem).

Lecz coż ja winien, że mnie nie uczyli,
Że chociaż szlachcic, a niebyłem w szkołach,
I żem tak wyrósł, jak nieociosany
Drąg, do niczego.

MARTA.

Pan Bóg z tobą, Stachu!
Co tobie w głowie? A toż tobie na co?
Czy to gospodarz, co ma kawał ziemi
I szczupły dworek, potrzebuje na to
Uczonéj głowy, aby rolę swoją
Zlał własnym potem i przewrócił dłonią?
Jemu potrzebna ręka i ten rozum,
Jaki miał ojciec, jaki Bóg każdemu
Daje, by wiedział, że pracować trzeba,
Że próżniak ginie z głodu, lub na starość
Idzie z torbami.— To mi troska, proszę!

STACH.

Oj! wielka, bardzo wielka, pani Marto!
Byłbym szczęśliwym, gdybym był uczonym.

MARTA.

Pluń na to Stachu! bo to grzech frasunkiem
Nie wiedzieć jakim trapić sobie serce,
Gdy Pan Bóg dał ci młodość, dał ci zdrowie,
Pamięć i rozum dobry, miłość ludzką,
I chléb powszedni, o co go codziennie
Prosisz w pacierzu. Czy to mój nieboszczyk
Umiał co więcéj, chociaż także szlachcic?
A jednak wszyscy go tu szanowali,
Każdy go pilnie słuchał, gdy co mówił,
Bo każdy wiedział, że tam jest rozumu
Siła, gdzie wszystko idzie, jak z rejestru,
Gdzie każdéj pracy Pan Bóg błogosławi.
Czy myślisz, że tam lepiéj jego bratu,
Jeśli pan Michał żyje gdzie na świecie.
On był uczonym, wszystkie szkoły skończył,
Najprzód w Łukowie, a w Warszawie potém
Lat kilka jeszcze więcéj się douczał.
A ot! słyszałam, lat dwadzieścia temu,
I więcéj może, poszedł gdzieś i przepadł;
I ani słychu o nim, ani wieści
Gdzie się obraca i czy ma nad głową
Dach, chociaż cudzy, kiedy nie chciał swego.
Nie bądźże głupi Stachu, i daj pokój
Myślom, co na nic ci się nieprzydadzą.
Bo choć i chciałbyś więcéj się nauczyć
Niż umiész, to już pożno, jużeś stwardniał,
I do téj pracy już się nagiąć nie dasz.

STACH.

Wszystko to prawda, dobra pani Marto!
A jednak tu mi siedzi, jak ćwiek w głowie,
Że wasza córka tyle się uczyła,
Tyle wié rzeczy, co tam kiedyś były
Na świecie bożym, i jak z płatka czyta
Na każdéj książce, choć nie polskiéj. Boże!
Żebym ja wiedział choć połowę tego,
Co wié Salunia wasza; żebym przed nią
Nie stał, jak pieniek, i rozumiał wszystko,
Co ona mówi, i mógł z nią pomówić,
Tak, że i jéj by to przyjemnie było,
Żeby i ona sobie pomyślała:
Ten Stach nie głupi, i ma oléj w głowie,
O każdéj rzeczy można z nim pogadać,
I miło słuchać, kiedy się odezwie.
Lecz gdzie tam, gdzie tam!— Mnie tak przed nią straszno,
Tak się sam siebie wstydzę, tak głupieję,
Że język kołem staje, a tu, we łbie
Ciemno się zaraz robi, jak w kominie.
Ach! pani Marto! ja od trzech tygodni,
Od kiedy córka wasza przyjechała,
I wy cieszycie się swą jedynaczką,
Nie jém i nie śpię, i jak błędny chodzę,
I klnę sam siebie, myśląc tylko o tém,
Czemu'm tak głupi, czemu nie uczony!

MARTA.

Ba! teraz jestem w domu biédny Stachu!
I wiém, co przylgło do twojego serca,

STACH (całując jéj ręce).

I pani Marta na mnie się nie gniewa?

MARTA.

Za cóżbym miała gniewać się na ciebie,
Kiedy i sama pragnę z całéj duszy,
Abyś jéj takim wydał się, jak życzysz.

STACH.

O Boże! Boże! jeśliby do tego
Przyszło, to jabym stracił od radości
Resztę rozumu, co się jeszcze świéci.

MARTA.

Tego nie trzeba Stachu!— Pan Bóg na to
Dał człowiekowi rozum, by mu służył
W każdém zdarzeniu, czy mu źle, czy dobrze.
Bez niego niéma rady, kiedy biéda,
A gdy się wiedzie, a człek zapomina,
Że w szczęściu takze rozum jest potrzebny,
To szczęście zaraz znika, i takiego
Da mu kominka, że go już nie złapie.

STACH.

Ach! pani Marto! czemu to Salunia
Nie wychowała się pod okiem naszém.

MARTA (z westchnieniem).

Tak to już pan Bóg zrządził, że ją wzięła
Jéj chrzestna matka, pani bardzo można,
Co ją jak własne dziecko pokochała
I wychowała razem ze swojemi.
Tam to Salunię nauczyli tego,
Co to panowie zowią adukacją.
Stąd wié co było wtedy, kiedy jeszcze
Nam i nie śniło się przychodzić na świat;
Rozumié książki, co nie po naszemu
Pisane; gada jakimściś językiem,
Że słuchasz, słuchasz, i pojmujesz tyle,
Ile byś pojął, gdybyś słuchał w lesie,
Rok i sześć niedziel, ptaszków, jak świegocą.
Powiém ci prawdę, i mnie było jakoś
Straszno z początku, jakiem ją przywiezła.
Myślałam sobie: źle, oj! źle to będzie,
Gdy córka matkę a nie matka córkę
Prowadzić zechce i rozumu uczyć.
Tym czasem, widzisz, strach mój prędko minął.
Salunia zaraz to pomiarkowała,
Że ten szlachecki dworek, to nie pałac
Pański, że wioska, to nie wielkie miasto;
Że my ludziska, których Bóg wychował
Bez książek, których cała mądrość — pacierz,
Nie zrozumiémy, gdy nam gadać będzie
O takich rzeczach, co dla panów dobre,
A nam, prostakom, na nic się nie zdadzą.
I zaraz wszystkie pańskie swe sukienki
Zrzuciła z siebie; włoski swe zapletła
W dwie długie kosy; kwiatek, co na grządce
Matczynéj wyrósł, w głowę swą zatknęła;
Opięła śliczne ciałko gorsecikiem,
W moje korale szyjkę swą ubrała,
I jak szlachcianka krząta się po domu,
W ogródku kopie, krówki moje doi,
Śpiewa piosenki, którem ja śpiewała,
I codzień w wieczór mówi ze mną pacierz.
O! niech ją za to Pan Bóg błogosławi!

(Ociera łzy).

STACH.

Ach! pani Marto! żeby to na długo
Mogła zapomnieć tych pałaców pańskich,
I tego miasta, gdzie ją wychowali!
To może kiedyś mógłbym jéj powiedzieć:
Saluniu miła! chodź do mego dworku,
Bądź gospodynią biédnéj méj chudoby,
A ja za ciebie wstanę wprzód, nim słońce,
Do późnéj nocy w pracy się nie strudzę,
Ażebyś miała wszystko, co się tobie
Przyśni, gdy zaśniesz cicho pod mym dachem.
O Boże!! Boże! kiedy o tém myślę,
To mi się w głowie kręci, tobym wolał
Nieżyć na świecie, niż powiedzieć sobie:
Daj pokój, głupcze! z tego nic nie będzie.

MARTA.

Bądź dobréj myśli Stachu! może będzie.
Bóg łaskaw, pewnie prośby méj wysłucha.
Lecz cicho! patrz-no, jaka ona śliczna.

STACH.

Oj! śliczna, śliczna! że aż ćmi się w oczach.

(Salunia, ubrana jak wyżéj opisano, starannie i z elegancją, okazującą pretensją, staje w ganeczku ze skopkiem w jednéj ręce, a stołeczkiem małym w drugiéj — po chwili zbliża się).

(Dalszy ciąg nastąpi)

wy przeciw p. Montezemolo i jego doradzey p. Lafarina. Nic więc dziwnego, że przyjaciele sprawy włoskiéj trwożyć się poczynają.

Dziennik *Narodowości* powtarza pogłoskę, że Crispi został uwięziony i wysłany do Neapolu. Wieść potrzebuje potwierdzenia.

Gaeta, 7 stycznia. Strzały oblężeńców silnie odpowiadały ogniowi piemonckiemu. Twierdza mocno cierpi od coraz ponawianéj natarczywości oblegających, ale i oblężeńcom udało się zniszczyć zupełnie jednę działobitnię piemoncką.

PANSTWO KOŚCIELNE.

Rzym, *2 stycznia.* Po wielu malutkich i niewinnych objawach, zdawało się, że Rzymianie w ostatni dzień roku wystąpią ze stanowczém politycznem zaburzeniem; co jeżeli nie ziściło się, nie zbywało im wcale na dobréj woli, bo wszystkie stronnictwa były w gotowości, skrajne reakcyjne, zwolennicy papiescy i podpory niepodległości i jedności narodowéj.

W dzień św. Sylwestra, Ojciec św. zwykł corocznie udawać się dla odbycia nabożeństwa w kościele św. Boromeusza, a stamtąd na odśpiewanie hymnu: *Ciebie Boże chwalimy*, w kościele p. Jezusa. Owóż z tego powodu, miało zajść co następuje. Stronnictwo klerykalne zamierzyło zebrać się w ogromnéj liczbie i czekać na przejazd Papieża z kościoła św. Karola, do kościoła p. Jezusa. Pojazd J. św. miano wyprządz i pociągnąć aż do drzwi drugiego kościoła. Na całéj długości téj drogi rozstawiono liczne kupy, dla wzbudzenia zapału dla Ojca św. a nienawiści ku Francji. Na okrzyki: *niech żyje Ojciec św.*, miano odpowiadać złorzeczeniami na rząd cesarza, bo wyznać należy, że zawziętość pewnego odcienia społeczności rzymskiéj jest tak ślepa, że cały gniew i całą nieufność przechowuje dla prawdziwych i jedynych obrońców stolicy św. Pius IX, dobrotliwy i pokój miłujący, wiedząc o tych przygotowaniach, wahał się z zastosowaniem do zwykłego ceremonjału w tym roku, z obawy smutnych jakich wypadków. Z drugiéj strony ostrzeżono jen. Goyon o napiętym zamachu. Naprzód uwiadomił go o nim ks. Merode, minister wojny, który przecież nie grzeszy zbytkiem przywiązania do Francji, a następnie, i nierównie szczegółowiéj, komitet stronnictwa narodowego włoskiego w Rzymie. Jeden z członków rzeczonego komitetu podjął się uprzedzić jenerała o spisku i dodał, że stronnictwo narodowe, obce temu objawowi, przedsięwzięło wszelkie ostróżności i lubo ma skład broni w Rzymie, ręczyć przecież nie może za wypadki. Nakoniec proklamacja, podpisana przez komitet narodowy, wydrukowana w kilku tysiącach egzemplarzy, z rąk do rąk obiegała Rzym. Przesłaną została osóbno jen. Goyon, wodzowi naczelnemu wojsk francuzkich, w państwie kościelném. Z żywością, ale bez obelg wyrażała żal i życzenia patryotów rzymskich, krępowanych w swobodzie działania, od czasu zwycięztw pod Magenta i Solferino, przez obecność wojska francuzkiego. Skutkiem czego na dni kilka, przed 31 grudnia, jen. Goyon, spólnie z ks. de Merode, przedsięwziął należyte przygotowania. Zgodzono się, aby na drodze od św. Karola Boromeusza do p. Jezusa nie rozstawiać żołnierzy papieskich; nawet oddział Zuawów, składający się z samych Francuzów, w innem miejscu był użyty. Dano rozkaz czterem bataljonom dywizji francuzkiéj jen. Gérandon wyciągnąć linje po obu stronach drogi i nie pozwalać nikomu zbliżać się do pojazdów orszaku, lub je przerwać. Wszystkie okrzyki polecono surowo poskramiać, nawet, w ostatnim razie, użyciem oręża.

Obecność wojska zatrwożyła wszystkie stronnictwa, które jednak tłumnie zebrały się na wyznaczone miejsca. Postrzegano w tłumach twarze niespokojne i czatujące na hasło rozruchu. Dało się słyszeć kilka pojedyńczych okrzyków, a między niemi głos: niech żyje rzeczpospolita! Niektórzy żołnierze musieli skrzyżować bagnety, aby tłum nie rozerwał ich szeregu, ale w końcu nic smutnego nie zaszło. Zamach był chybiony. Jeden tylko niezdarny cudzoziemiec, który jako obywatel wolnéj Anglji, chciał koniecznie przedrzeć się przez linję mimo przestrogi żołnierzy, mimo przestrach i łzy *milady*, o mało że nie został poturbowany, bo żandarm najechał na niego i już miał dobyć szabli, gdy Anglik, lubo niechętnie, ustąpił, krzycząc, że skarżyć się będzie swemu rządowi. Tymczasem Ojciec św. pojechał na *Te Deum* i wrócił bez przypadku do Watykanu.

Wczoraj J. św. raczył przyjmować wszystkie władze i dostojników państwa, z powodu nowego roku. Jenerał Goyon znajdował się w orszaku oficerów wojska francuzkiego. Po zwykłych przedstawieniach, Ojciec św., głosem wzruszonym i prawie ze łzami w oczach, wyrzekł kilka słów na pochwałę Francji i jéj wojska. Błagał o błogosławieństwo boskie na całe to wojsko, na korpus broniący Rzymu, na flotę stojącą pod Gaetą, na korpus wyprawy syryjskiéj, *opiekujący się chrześcijanami wschodu*, nakoniec na żołnierzów francuzkich, którzy w Chinach, *na murach pekińskich wznieśli znak zbawienia*. (Czyż w tych słowach głowy kościoła nie należałoby widzieć ubocznéj nagany niektórych biskupów francuzkich, którzy niedawno, uwielbiając poległych pod Castelfidardo, nie myślili wcale o tém, że w tejże chwili, inni Francuzi *przelewali krew swoją za tryumf krzyża?* Wszystkie podkreślone wyrazy dosłównie wyszły z ust Piusa IX).

D. 8 *stycznia*. Korespondent dziennika *Le Nord* podaje następne wiadomości z Włoch południowych: „Zawieszenie broni zostało przyjęte przez króla sardyńskiego. Nie wiadomo jeszcze jak Franciszek II postąpi. Wielce życzyćby należało, aby się na rozejm zgodził; bo w razie odrzucenia, odpowiedzialność za wszystkie następstwa spadłaby na niego, gdyż wówczas rząd francuzki nie widziałby obowiązku dłuższego utrzymywania swéj floty pod Gaetą.

„Tymczasem Franciszek II wytężył wszystkie siły, dla sprawienia dywersji w Abruzzach. Nic nie zaniedbano, aby rozpalić powstanie i dać mu pozór narodowego wstrząśnienia. Rząd burboński posunął zabiegi o nadanie rozruchom pewnéj teatralnéj barwy. Dowódca załogi francuzkiéj w Velletri, dowiedziawszy się, że wylądowano w Foreppio broń, przywiezioną na łodziach z Gaety, kazał ją zabrać. Cała przesyłka składała się z 900 strzelb, wielkiéj liczby pistoletów i puginałów, oraz *narodowych abruzzkich strojów*.

„Przesilenie ministerjalne w Sycylji, z powodu niezgody pp. Lafarina i Cordova, nie pociągnie za sobą zmiany w kierunku rządowym, jak to miewało miejsce pod uprzednim zarządem. Marg. Torrearsa, upoważniony do złożenia nowego ministerstwa, znany jest ze swego przywiązania do monarchji i jedności włoskiéj. Wiadomo, że pod dyktaturą Garibaldiego postawiony był na czele rządu w Sycylji, lecz stronnictwo Crispi wkrótce go obaliło.

„Wieść o wysłaniu przez hr. Cavour noty rządowi austryjackiemu, z powodu odmówienia, podczas burzy, przytułku w porcie Pola, jednéj fregacie sardyńskiéj, zdaje się być bezzasadną; bo cokolwiek bądź rząd sardyński nie powinien, przez czas rozejmu, jaki dziś trwa między nim, a rządem austryjackim, wywoływać drażniących podrzędnych pytań."

Francja.

Paryż, *8 stycznia.* Nowa broszura pod nazwą, *Rzym i biskupi francuzcy*, wyszła na jaw i sprawiła ogromne wrażenie. Dzienniki półurzędowe pośpieszyły z ostrzeżeniem, że ta praca jest zupełnie indywidualną i obcą wszelkiemu w niéj uczęstnictwu rządowemu. Czasopisma podały najwybitniejsze z niéj wyjątki. Powtórzymy je w dosłownem tłumaczeniu z dziennika *Le Nord*: „Papieże pierwszego okresu statecznie trzymali się prawa Jezusa Chrystusa, mówiącego: królestwo moje nie jest tego świata; uciekającego na pustynię, kiedy lud chciał go uczynić królem; poddającego się opłacie podatków i sądowi Piłata. Ci papieże zamknęli się ściśle w wykonywaniu swojego ewangelicznego urzędu, swojego duchownego sądownictwa. Przeciwnie, papieże drugiego okresu, nie przestając na doczesnéj udzielności, nadanéj stolicy św. przez wdzięczność ludów i przez siłę wypadków, otwarcie dążą do powszechnéj teokracji. Nazwa namiestnika Jezusa Chrystusa nie wystarcza już ich ambicji, przybierają nazwę namiestnika Boga na ziemi. Z władzy swojéj duchownéj czerpią powód wdawania się we wszystkie sprawy doczesne i czynią straszliwy oręż dla poniżenia królów i cesarzów, których zamieniają na mieczników papieztwa. Słowem, między papieżami pierwszego i drugiego okresu zachodzi ta różnica, iż należało pierwszych przymuszać do przyjęcia władzy, drugich zaś do jéj oddania.

„Smutna jest widzieć, że ze szkodą kościoła, biskupi i wyższe duchowieństwo poszło po téj drodze za papiestwem i że duch zaprzania, ofiary, pokory, wszystkich dzielnych cnot pierwszych wieków, straciły nieco ze swéj władzy. Skład nawet społeczeństwa religijnego doznał głębokiego, a może nieuleczonego uszczerbku. Zasadę gminowładną obieralności, którą znajdujemy w początkach wszystkich katolickich ustanowień, zdaje się że zamienił stan rzeczy nieprawidłowy. Ci nawet, którzy mogliby i powinni zagajać uznane za potrzebne reformy, zdają się mieć swoje widoki w utrzymaniu obecnego stanu rzeczy; nakoniec stan biskupi oskarżany jest, że władnie kościoła stał się prawdziwą oligarchją, i że z tego powodu poślubił widoki, mniemania i przymierza, skutkiem których zbacza z prawdziwych tradycij katolickich.

„W téj mierze sumienie nakazuje nam wymienić czyn rzeczywiście istniejący, lubo okryty tajemnicą. Byłoby błędem i niesprawiedliwością wierzyć, że wszyscy biskupi, bez wyjątku, poczytują utrzymanie władzy świeckiéj za istotną, do wykonania urzędu duchownego i bezpieczeństwa sumienia. Pewna ich liczba, wiemy to i twierdzimy, wyznaje w szczerości serca przeciwne zdanie. Dziś, rzeczywiście, w całém duchowieństwie, od najwyższych do najniższych stopni, istnieją dwa oddzielne mniemania. Dla czego nasi biskupi narażają się dobrowolnie na zarzut, że dwie główne pobudki, co ich popchnęły na drogę, na któréj z żalem się dziś widzą, są, z jednéj strony, bojaźń aby ich nie nazywano *gallikanami*, z drugiéj obawa, aby upadek władzy świeckiéj nie pociągnął za sobą upadku biskupiéj oligarchji.

„Postęp wyobrażeń i logika wypadków coraz wyraźniéj świadczą o mądrości cesarza, o prawości jego zamiarów i głębokości widoków, w sprawie rzymskiéj. Nawet ci sami, co najotwarciéj bili na jego programmat, zaczynają uznawać, że doradzane przezeń rozwiązanie, pod wszelkiemi względami, było najkorzystniejsze. Najkorzystniejsze dla samego papiestwa, wyzwalającego je od jarzma, równie dlań upakarzającego, jak ohydnego dla Włochów, jarzma austryjackiego; dla papiestwa, którego podnosiło urok, stawiąc je na czele Włoch, w wysokiém położeniu dobrowolnie przyjętém, w zamian za udzielność wątpliwą, w połowie niezawisłą, w połowie lenną, któréj go znamię przeciwnarodowe i przeciw-liberalne roznieciło na półwyspie opór i nienawiść. Najkorzystniejsze dla Włoch, których wyzwolenie uświęcało i utrwalało prawdziwą jedność, szanując, z jednostajną troskliwością, zasadę dziedzictwa dynastycznego i pierwotną udzielność rozmaitych państw skonfederowanych. To rozwiązanie sprzyjało najskuteczniéj utrzymaniu europejskiego pokoju, odwracając wybuch rewolucyjnego ducha, przez mądre umiarkowanie między prawowitemi żądaniami ludów i prawami panujących.

„Nie jest rzeczą zbyteczną przypomnieć tu zasady, na których oparto rzymskie pytanie w obec Francji i Europy, w piśmie, którego szukać źródła, jest rzeczą obojętną, ale zrozumienie ducha i doniosłości jest rzeczą konieczną. Broszura, *Papież i kongres*, następnie wyraziła się w grudniu 1859 r.:

„Chcemy, jako szczerzy katolicy, zbadać nierozsądnie roznamiętnione pytanie. Montesquieu dawno już wyrzekł: namiętność wznieca uczucie, ale ćmi rozsądek. Starajmy się przeto wygnać ja z obrębu, w którym tylko sumienie i rozum mogą przemówić z powagą. Między tymi, co odstąpiwszy władzy świeckiéj papieża, głośno domagają się jéj upadku, i tymi, co poczytując też władzę za artykuł wiary, chcą ją mieć nietykalną, jest miejsce dla mniemania mniéj wyłącznego w obudwu kierunkach. To mniemanie, tchnące równem uszanowaniem dla praw ludów i dla dobra religji, protestuje przeciw antagonizmowi, na który zdają się potępiać je umysły absolutne, wychodzące z wprost sobie przeciwnych stanowisk, lecz łączących się we wspólnym oporze. Szczerze wierzymy, iż ocalenie dla Papieża jego ojcowizny, nie jest niemożliwém, nie narzucając samowładnie ludnościom władzy królującéj w imię Boga."

„Te wyrazy pamiętnéj broszury, nie obalały władzy świeckiéj ojca św.; bo kościoł katolicki, apostolski, rzymski, oparty na obietnicach swojego boskiego założyciela, nie ma powodu lękania się błędów swego zwierzchnika i jego ministrów. Bez wątpienia, ta silna i rozumna ręka, która zasłania ojca św. w Rzymie, potrafi hamować namiętności we Francji i obronić stan biskupi od jego własnych zboczeń; ale nie mniéj, już nadeszła pora wniesienia pochodni światła w ten odmęt i wydobycia z niego zasadniczego pierwiastku kościoła, z niebezpiecznéj ligi mniemań ultramontańskich.

„Okażemy naprzód, że nauki wyznawane przez dzisiejsze koło biskupów o pochodzeniu i treści władzy świeckiéj, są w sprzeczności z niektóremi własnemi ich zasadami, w sprzeczności z uczuciami i postępowaniem papieżów i biskupów, pierwszych wieków, w sprzeczności nakoniec z duchem nowoczesnego publicznego prawa.

„Znajduje się w ręku świata autentyczny pomnik mniemań politycznych i religijnych biskupów: to jest zbiór zupełny ich pism, ściągających się do władzy świeckiéj papieskiéj, wydrukowany w Rzymie, w 3 grubych tomach, w ćwiartce, pod napisem: *la Sovranita temporale dei Romani Pontefici*, (najwyższa władza świecka rzymskich papieżów). Zalecenia i listy pasterskie biskupów francuzkich, o których wyłącznie chcemy tu mówić, składają największą część pierwszego tomu. W nich czerpać będziemy nasze dowody. W skutek ogłoszenia tych pism na rozkaz i pod orędownictwem dworu rzymskiego, istnieje między niemi nierozerwalna spójność; mamy więc prawo przypisywać całemu kołu biskupów mniemania, przez każdego z nich zosobna wyrażone. Różnice lub nawet sprzeczności, które wykażemy w ich słowach, mogą zwątlić powagę saméj treści, ale nie zniszczyć ich spójności.

„Zacznijmy od przedmiotu, na który zdają się jednomyślnie zgadzać, będącego głównym celem ich usiłowań. Tym przedmiotem jest nierozdzielny związek, którego pragną dowieść, między władzą świecką Papieża, a jego duchowną powagą. Oto są w téj mierze słowa ks. Gerbet biskupa perpignańskiego:

„Nieprzyjaciele stolicy św. powtarzają nam, z pozorną dobrodusznością, że władza świecka Papieża zupełnie jest niezależną od dogmatu. Ale naprzód skąd to im wiadomo? Od jakiego czasu zostali tak uczonymi teologami, iż są w stanie rozeznać ściśle granice, na których zatrzymują się wynikłości dogmatu? Ta władza opiera się na zasadzie objawionéj i na czynie niezawodnym. Zasada objawiona, że głowa kościoła kieruje nauczaniem wszystkich ludów, *docete omnes gentes*, (nauczajcie wszystkie narody), ma prawo swobodnie wykonywać powierzony jéj przez Boga urząd. Czyn niezawodny, że jéj polityczna niezależność jest najpewniejszym środkiem utrzymania owéj zasady. Ta władza świecka nie jest ani artykułem *wierzę w Boga*, ani czynem światowym; jest czynem protegowanym przez dogmat."

„Nienależy zapominać, czytając to wyznanie zasad, że pochodzi od jednego z ojców systematu ks. de Lamennais, który rozum indywidualny, poddawał rozumowi zbiorowemu, ten zaś chciał mieć posłusznym objawieniu.

„Czyż sądzicie, że krew chrześcijańska zapomniała płynąć w naszych żyłach? Wara, moglibyście nas zranić!" Któż w tych wojowniczych wyrazach nie poznał dostojnego biskupa co ręką więcéj porywczą, niż silną, usiłuje naciągnąć łuk Bossueta? Ale pominąwszy część czysto krasomówną, przystąpmy wprost do rzeczy. Ks. Dupanloup, głównie stara się dowieść dwóch następnych założeń: „Potrzeba, dla bezpieczeństwa kościoła i naszego: aby Papież był wolnym i niepodległym. Potrzeba aby ta niepodległość była udzielną."

„I ks. biskup orleański nie ogranicza się na wymaganiu téj niepodległości udzielnéj, jako rzeczy pożytecznéj i przyzwoitéj; ale razem z wice-hrabią Montalembertem, którego słowa wyrzeczone na zgromadzeniu narodowem przywodzi, kładnie ją za warunek istotny, nieodzowny swobodnego wykonywania władzy duchownéj i religijnéj wolności katolickiéj. Nie przestaje tak, jak ks. Gerbet, na uczynieniu z niéj niby artykułu wiary, ale czyni ustanowienie wszech-opatrzne, europejskie i wypływające z prawa katolickiego.

„Byłoby równie łatwém, jak zbytecznem pomnożyć liczbę tych przytoczeń; ale jakże pogodzić tę mniemaną konieczność świeckiéj władzy z usiłowaniami czynionemi, według świadectw samych naszych biskupów, przez papieżów pierwszych wieków kościoła, aby jéj uniknąć? Ks. Dupanloup sam uczy nas, jak ta udzielność tworzyła się naprzód bezwiednie, a potem wbrew wyraźnéj woli stolicy św. „Papieże rzymscy, mówi, nie przestawali, ile to od nich zależało, pracować nad utrzymaniem w Rzymie władzy cesarzów konstantynopolskich. Przez wiele wieków ujrzymy ich, używających z niezrównaną gorliwością, całego wpływu, dla żywienia w sercach ludów wierności dla ich panów." I daléj: „Nie tylko papieże nie narzucali się ludom, ale, czego wszystkie dziejowe zdarzenia dowodzą, same ludy, opuszczone przez swoich dawnych panów, doprowadzone do rospaczy, błagały papieżów, aby nimi rządzili i aby je ocalili." A daléj jeszcze: „Grzegorz wielki był najznakomitszém uosobieniem, najszlachetniejszym i najrzewniejszym typem téj osobliwéj udzielności, objawiającéj się jedynie przez dobrodziejstwa, miłość ludzi, którą siła wypadków, nieszczęścia czasu, i wdzięczność ludów oblokły Papieżów rzymskich."

„Ks. biskup Nimesski nie mniéj jest stanowczy: „Co na największą zasługuje uwagę w papieżach, jest właśnie, że ani dobijali się władzy, ani działali w celu jéj zdobycia." A nieco niżéj, przypomniawszy jęki św. Grzegorza, że powódź spraw ludzkich, wyrywała go najgwałtowniéj służbie bożéj, dodaje: „Pod temi słowami nie drga pragnienie świeckiéj potęgi, ale wyraźny smutek widzenia się zniewolonym przez konieczność do jéj spełniamia." Przypomina następnie prześliczne zdanie Grzegorza II. do cesarza Leona Izauryka: „Jak biskupi, przełożeni nad rządem kościoła, powinni wstrzymywać się od udziału w sprawach publicznych, tak równie cesarze powinni wstrzymywać się od mieszania się w sprawy kościoła." Stawiąc nakoniec przykład obok przepisu, ks. biskup Nimesski tak rzecz swą zamyka: „Wierny poddany, Grzegorz II., zachował się i sam, i lud utrzymał w sprawiedliwém posłuszeństwie. Nie zaprzestał na zachowaniu cesarzowi Włoch, już mających dlań zginąć, lecz użył całego swojego wpływu do powrótu niektórych jego posiadłości, najechanych przez Lombardów."

„Trudno jest zdrowiéj rozumować, a mianowicie dostarczyć przeciw potrzebie udzielności świeckiéj, bardziéj stanowczego dowodu. Rzeczywiście, z tego historycznego wykładu, którego miło nam jest przyznać całą ścisłość, jasno wynika: że papieże pierwszych wieków kościoła, dalecy od wymagania udzielności świeckiéj, jako warunku koniecznego urzędu, przeciwnie, odpychali ją ze wszystkich sił, jako kłopot i zawadę; że ciż sami papieże ogłaszali różnicę i stanowczy oddział władzy duchownéj, od świeckiéj, równie jak wzajemną tych władz od siebie niezależność; że podczas trwania drugiego i pełnego chwały oddziału tych dwóch władz, papiestwo, przez swoje zaprzanie, dobrodziejstwa i cnoty, nabyło prawdziwéj przewagi, nie tylko nad katolickiemi ludami, ale nawet nad samymi barbarzyńcami i że z tych powodów stało się najwyższą powagą moralną, jaką kiedykolwiek ziemia widziała; że dalecy od poczytywania za sprzeczną z godnością i swobodą spełniania swego posłannictwa, uległości władzy świeckiéj nauczali i pełnili ją nawet względem cesarzów heretyckich i prześladowców kościoła.

„Na zarzut, że papieże wyzuci z udzielności władzy świeckiéj, nie mogliby wykonywać pełności swéj władzy duchownéj, odpowiemy: że już od dawnego czasu udzielność papieska w rzeczywistości była lenną Austrji i że z tego powodu, dostarczała obawom innych mocarstw bardzo silnych pobudek. Wszakże obok tego, z całego serca zgadzamy się z ks. biskupem Rodezskim, co do szalonéj myśli utworzenia we Francji kościoła narodowego i przyznajemy z nim, że Jezus Chrystus współcześnie założył wolność religijną i moralną, nauczając oddawać cezarowi co jest cesarskiego, a co jest boskiego Bogu, t. j. rozdzielając władzę świecką od władzy duchownéj. Ale jakże ks. biskup Rodezski nie postrzegł, że to właśnie jest niezbitym dowodem przeciw władzy świeckiéj papieża? Dla uniknienia więc téj trudności ks. biskup orleański, a za nim inni, wynaleźli nowe prawo i nazwali je *prawem publicznem katolickiem*. Wychodzą z téj myśli, potępionéj przez dzieje, że niepodległość władzy duchownéj nierozerwalnie jest skojarzoną z udzielnością świecką Stolicy św, nazwali też udzielność, *potrzebą wyższego porządku*, przodkującą i niweczącą prawo narodowe. Taką to drogą dowolność prowadzi do przeczenia najoczywistszym prawdom. Cóż bowiem jest prawo publiczne? Jest to podług orzeczenia prawoznawców, zbiór maksym wypływających z prawa narodowego i przyjętych przez sumienie powszechne. A cóżże jest prawo publiczne katolickie biskupów? Jest to wyższość dogodności nawet nad samém prawem przyrodzoném; jest to zasada wywłaszczenia narodowego na rzecz dogodności katolickiéj. Podług téj teorji powstałoby prawo przeciw prawu i Bóg znalazłby się w sprzeczności z samym sobą, opierając bezpieczeństwo sumienia i wolność swego kościoła, na wyzuciu z praw ludowych. Tym samym sposobem rzeczypospolite starożytne usprawiedliwiały niewolę gminu, potrzebną dla dogodności niektórych uprzywilejowanych."

D. 9 stycznia. Hr. Walewski, jako minister stanu, uznał za właściwe zmienić redakcję *Monitora Powszechnego* i wprowadzić w samym układzie dziennika pewne odmiany. Najgłówniejszą w nich jest ta, że Monitor na czele każdego swojego numeru, począł umieszczać krótkie poglądy na bieżącą politykę powszechną, pod nazwą *bulletynów politycznych*. Ponieważ *Monitor* jest jedynym i uznanym organem rządu cesarskiego, rzecz prosta, że te poglądy, mimo cały swój lakonizm, mają niezmierną wagę; może nie tyle pod względem tego co mówią, jak raczéj pod względem tego co zamilczają; w każdym wszakże razie odbija się w nich myśl rządowa i dla tego postanowiliśmy *pod Francją* umieszczać rzeczone poglądy dosłównie. Nie będziemy powtarzali podanych dotąd wiadomości, bośmy już o nich z innych źródeł mówili, poczniemy za tém podawać te poglądy cząstkowie od dnia 9, a w zupełności od d. 12 b. m.

Zdaje się być rzeczą pewną, że Senat będzie zwołany przed końcem stycznia, dla obradowania nad *uchwałą Senatu*, wyrażoną w dekrecie 24 listopada. Posiedzenia otworzą się w pierwszych dniach lutego.

D. 11 stycznia. Różne dzienniki zagraniczne zajmowały się w tych ostatnich dniach i dziś jeszcze mówią o rozejmie, zawartym między wojującemi stronami pod Gaetą. Rzeczywiście czyniono kroki dla dojścia do zawieszenia broni, podczas którego możnaby otworzyć rokowania, ale te kroki pozostały bezskutecznemi. Lecz ponieważ Sardynja oświadczyła, że gotowa jest wstrzymać działania wojenne i wszelkie prace około sypania okopów aż do d. 19 b. m., poruczono wice-admirałowi de Tinan uwiadomić króla Franciszka II, wzywając go do zaprzestania podobnież nieprzyjacielskich kroków. W razie, gdyby skutkiem tego wezwania, kroki nieprzyjacielskie zostały zawieszone, eskadra francuzka oddali się natychmiast z wód gaeckich, wyjąwszy jednego statku, który pozostanie aż do upłynienia rozejmu.

Wyjednano od rządu chińskiego w Kantonie ważne ustępstwo, zgodne z duchem liberalnych zastrzeżeń, umieszczonych w traktacie pokoju, podpisanym w Pekinie. Podkróli oddał naszym missjonarzom na wybudowanie kościoła katolickiego, pyszną miejscowość, leżącą w samym Kantonie, na któréj wznosił się przed zajęciem tego miasta, sławny pałac gubernatora Yeh. Od dwóch lat władze francuzkie domagały się, aby powrócono biskupowi obojga Kuangsów, przynajmniéj choć część gruntów, należących zdawna do zakładów katolickich, a których posiadacze byli wygnani i z nich wyzuci, podczas ostatniego prześladowania, srożącego się w Państwie Niebieskiém, nad chrześcijanami. Chociaż władze chińskie uznały, w zasadzie, słuszność zwrotu tych posiadłości, mnożyły jednak wybiegi, aby go uniknąć. Powodzenia nasze na północy położyły, szczęściem, koniec ich złéj woli i kościoł, który niebawem budować się pocznie, da wkrótce świetne świadectwo troskliwości cesarza o dobro wiary, znajdującéj się pod tradycyjném orędownictwem Francji, w najodleglejszych krajach Wschodu. Zamieszkanie naszych missjonarzów w Kantonie przyniesie pożytek powszechny, ponieważ uzna i utrzyma prawo, dotąd statecznie odmawiane cudzoziemcom, wolnego wstępu do wnętrza tego miasta.

D. 12 stycznia. Donieśliśmy już, że pełnomocnik wielkiego książęcia Hessko-darmsztadzkiego przedstawił sejmowi frankfurckiemu przełożenie wymierzone przeciw narodowemu niemieckiemu stowarzyszeniu i dążące do tego, aby sejm objaśnił paragraf konstytucji związkowéj, ściągający się do stowarzyszeń i zgromadzeń publicznych. To przełożenie nabawia sejm znacznego kłopotu, bo stowarzyszenie narodowe obudza żywe współczucie w krajach związkowych i nie jest źle widzianém przez wielką liczbę rządów. Wywołało ono już w samém mieście, w którém sejm obraduje, dość ważny objaw. Dnia 7 b. m. więcéj niż 800 osób zebrało się w Frankfurcie, na posiedzenie ogólne stowarzyszenia narodowego. Mowy, pełne zapału miały być wyrzeczone i zgromadzenie przyjęło uchwałę wyrażającą, że sejm przekroczyłby swą władzę, przyjmując przełożenie heskie.

Inne wniesienie wytoczone na sejm, co do środków mających się przedsięwziąść przeciw Danji, z powodu księstw, zdaje się, nie powinno poruszyć, przynajmniéj między pełnomocnikami związkowymi, żadnych trudności, wnosząc z mowy, mianéj w izbie poselskiéj w Dreznie przez ministra p. Beust, w któréj oświadczył, że wszystkie rządy niemieckie postanowiły, w téj mierze, głosować i działać z Prusami, nie tając przecież, że zajść mogą z zagranicy zarzuty do rozwiązania i zawady do pokonania. Listy nadesłane z Niemiec zwiastują, że pełnomocnik duński przy sejmie związkowym otrzymał rozkaz od swojego rządu, opuścić Frankfurt, skoroby wniesiono na sejm przełożenie użycia siły zbrojnéj związkowéj przeciw Danji.

Dzienniki włoskie i dziś mówią o zawieszeniu kroków nieprzyjacielskich pod Gaetą, na które Piemont zgodził się, ulegając wynurzonemu przez Francję żądaniu. Ks. Carignan wsiadł na okręt dnia 9 w Genui, udając się do Neapolu ze swoim orszakiem. Ministerstwo zostało nanowo złożone w Sycylji. Według depeszy prywatnéj, zajęli w niém wydziały, pp.: Torrearsa, skarbu; Emerico Amaro, spraw wewnętrznych; Orlando, sprawiedliwości; Santalia, robót publicznych; Turisi, rolnictwa.

Nowiny otrzymane dziś w Paryżu, są z d. 13 listopada, z zatoki Petscheli, a z 29 z Hong-Kong. Stosownie do podpisanego w Pekinie traktatu, odwrótny ruch wojsk sprzymierzonych, bystro się uskutecznia. Brygada jen. Collineau otrzymała rozkaz zająć leże zimowe między Tien-Tsin i twierdzami Takou, z kilku statkami kontr-admirała Protet. Jen. Montauban z brygadą Jamin, miał rozłożyć się w Shang-Hai; wice admirał Charner, z głównemi siłami eskadry francuzkiéj, zająć ujście rzeki w zatoce Wousong; Kanton miał być osadzony przez 900 ludzi, kontr-admirał zaś Page, powróci z wielu statkami zimować w Hong-Kong. Baron Gros i osoby, składające jego poselstwo, lada dzień powinny były wsiąść na okręt *Du Chayla*, który ich odwiezie do Suez. Lord Elgin zamierza użyć statku pocztowego europejskiego w Singapur, zabawiwszy czas niejaki w Manilli. Największa część wojsk angielskich zabierała się na powrót do Indji. Nasi sprzymierzeńcy chcą zatrzymać tylko 4000 ludzi i małe oddziały w Hong-Kong i Kantonie.

Anglja.

Southampton, *wtorek, 8 stycznia.* Lord Palmerston znajdował się dzisiaj na obchodzie położenia kamienia węgielnego pięknéj budowy, przeznaczonéj na przybytek nauk i umiejętności. Mer, w imieniu rady miejskiéj, złożył pierwszemu ministrowi adres, na który lord Palmerston następnie odpowiedział: „W złożonym mi adresie dotknąłeś panie merze, pytań polityki europejskiéj. Rząd, którego jestem członkiem, starał się najniewątpliwiéj rozkrzewiać zasady religijnéj i politycznéj wolności, tak wysoko w Anglji cenionéj. Świeżo byliśmy świadkami rewolucji, w prawdziwém tego słowa znaczeniu, w kraju,

o którym wasz adres wspomina, chcę mówić, świadkami rewolucji we Włoszech. Z pociechą poglądaliśmy na utrwalającą się jedność Włoch i mam nadzieję, że ludność miejscowa będzie miała uczęstnictwo w dobrodziejstwach, które nasza szczęśliwa ojczyzna winna konstytucyjnéj monarchji. Panie Merze i Mci panowie, raz jeszcze dziękuję za wasz adres. Cieszę się z otrzymania tego dowodu waszéj życzliwości i szacunku."

Ochotnicy, z muzyką na czele, udali się wprost na pole ćwiczeń, gdzie, w obecności kilku tysięcy widzów, wice-hrabia Palmerston odbył ich przegląd. Dowodził nimi podpułkownik Grunslon. Po odbyciu przeglądu, ochotnicy uszykowali się w czworobok i lord Palmerston w krótkiéj przemowie oddał sprawiedliwość prawdziwie rycerskiéj ich postawie na polu. „Daliście dowód, że nie tylko posiadacie wszystkie przymioty dobrych żołnierzy, ale że umieliście korzystać ze wzorów, dawanych wam przez mężów, którzy z chlubą służyli krajowi pod jego chorągwiami i nabyli wprawy w doświadczeniu zaszczytnych prac swoich dla korony. Anglicy, od niepamiętnych czasów słynęli z trafności strzelania. W zapadłéj przeszłości łuków, łucznicy angielscy zawsze byli groźnymi i przekonany jestem, że pewny rzut oka i ręce wyćwiczone dozwolą mieszkańcom Hamsphire, w razie potrzeby, oddać, za pomocą rusznic, usługi niemniéj skuteczne, jak te, które oddawali ich przodkowie za pomocą mniéj udoskonalonych wojennych narzędzi. Zdumiała mię zręczność, okazana przez was w żołnierskiém rzemiośle i wdzięczny wam jestem za doznaną przyjemność."

Ochotnicy podziękowali lordowi Palmerston trzykrotném hurra. Po przeglądzie miało miejsce śniadanie, pod koniec którego lord Palmerston odezwał się następnie: „Panie Merze, przełożyłeś uwagi swoje nad biegiem ogólnéj polityki i wyraziłeś zadowolenie z postępowania rządu, którego jestem członkiem. Prawda, że świeżo upłyniona jesień i zima, którą teraz przebywamy, wydały *trzy* zdarzenia, niemniéj znakomite od tych, jakie zbiegły się kiedykolwiek w tak krótkim przeciągu czasu, we trzech częściach kuli ziemskiéj. Wspomniałeś o tém, co zaszło w Azji. Chcę mówić o zajęciu stolicy cesarstwa Chińskiego przez wojska sprzymierzone, Angielsko-francuzkie. Owóż, gdyby kto, przed dwudziestu laty, powiedział wam, że będziemy mogli mieć w Pekinie wojska francuzkie i angielskie, żartowalibyście z niego, jak z szalonego. Tymczasem, to zdarzenie spełniło się i spodziewam się, że zapewni dla nas trwałe i rzeczywiste stosunki pokoju i handlu z Chinami, równie korzystne dla Europy, jak dla najodleglejszych stron Azji.

„Mówiłeś, panie Merze, o umiejętnéj troskliwości, z jaką flota została opatrzoną. Zaszczyt w téj mierze spada nie tylko, bez zaprzeczenia, na mego wielce szanownego przyjaciela, pana Sidney Herbert, sekretarza stanu wydziału wojny, który poświęcił całą swą działalność, całą potęgę swych zdolności, wszystkiemu co ściąga się do służby wojennéj, nie tylko na jego kr. w. księcia Cambridge, wodza naczelnego, który z taką gorliwością zaprowadził ulepszenia w wojsku, którego jest tak znakomitym członkiem, ale nadto na sprężysty zarząd lorda Canning w Indjach, skąd wyprawiono wielką część naszego wojska. Całe powodzenie zawdzięczamy zdolnościom, odwadze i stanowczemu postępowaniu naszych dowódzców lądowych i morskich; zawdzięczamy tym znakomitym mężom, a mianowicie: jenerałowi Grant i jenerałowi Hope, a również sprężystości, mocy i wytrwałości naszego pełnomocnika lorda Elgin. Kiedy zważymy niezmierne rodzime zasoby półwyspu Włoskiego, kiedy spójrzymy na rozciągłość jego morskich brzegów, na liczbę wybornych portów, na płody właściwe téj ziemi, a nadewszystko, kiedy wspomnimy o umysłowych zdolnościach ludu, który, mimo despotyzm, wydał z pomiędzy siebie tylu znakomitych mężów, we wszystkich rodzajach; gdy zapatrzymy się na to wszystko; gdy wspomnimy o tém, czém byli Włosi w dawnych epokach dziejów, wówczas, kiedy cesarstwo Rzymskie panowało nad światem, oraz epokę nierównie bliższą, w któréj Włochy były kolebką odradzającego się światła, mamy prawo spodziewać się, że są przeznaczonemi do zajęcia wielkiego miejsca w doli świata, nie jako naród zdobywczy i napastniczy, bo okoliczności nie dozwolą zboczyć mu na tę złą drogę, ale jak ognisko światła, jak kraj, w którym ludzie, o ile to rzecz możliwa, doskonalić się nie przestaną.

„Trzecie zdarzenie, m. pp., które lękam się, nie ziściło się jeszcze zupełnie, ale już daleko jest posunięte, miało miejsce na drugiéj półkuli świata. Chcę tu mówić o Ameryce. Obawiać się nam wszystkim przychodzi, aby to zjednoczenie, trwające blizko wieku, które obdarzyło pokojem i pomyślnością spółrodaków naszych za-atlantyckich, nie rozprzęgło się i nie zerwało. Nie przystoi nam z powodu tego zdarzenia, wynurzać innych uczuć, prócz najgorętszych życzeń, aby te zatargi, skądkolwiek wynikłe, ukojone zostały przez polubowne porozumienie i aby wszystko załatwiło się zgodnie, bądź związek miałby się nadal utrzymać, bądź rozdział ostatecznie nastąpić, byleby oszczędzie światu boleśnego widoku walki między współbraćmi i krewnymi."

Lord Palmerston rozwiódł się następnie z pochwałami ochotników, których nazwał trzecim pierwiastkiem obrony narodowéj, któréj pospolite ruszenie dokonać by nie mogło. Przyjęto tę mowę grzmiącemi oklaskami. Różne przezdrowia wnoszono, odpowiedzi zabrały dużo czasu i zgromadzenie rozeszło się późno w nocy.

Następny adres do lorda Palmerstona, podany został do podpisu liberalnym członkom izby gmin: „Milordzie, poczytujemy za obowiązek, z miejsca naszego, jako członkowie liberalnego stronnictwa izby gmin, którzyśmy ogólnie wspierali wasz rząd, przełożyć z uszanowaniem, niespokojność i trwogę jakich nas nabawia wysokość obecna wydatków publicznych i prosić o wzięcie tego przedmiotu pod najbaczniejszą rozwagę rządu, przy układaniu budżetu na rok przyszły.

„Nie możemy inaczéj sądzić, tylko że ogromne rozchody bieżącego skarbowego roku, narzucone zostały mimowolnie rządowi, przez zbieg nieszczęśliwych okoliczności. Ilość wydatków tak dalece przewyższyła to wszystko, co dotąd w téj mierze widziano, zwłaszcza, że kraj niebył wdany w żadną europejską wojnę, że wielka odpowiedzialność spadnie na rząd i na izbę gmin, jeżeli ta ilość, przy pierwszéj zręczności, zmniejszoną nie zostanie.

„Stosunki Anglji, pod koniec upłynionego roku dozwalają mieć nadzieję utrzymania pokoju. Wojna z Chinami wzięła koniec. Wstrząśnienia włoskie, zdaje się że prędko doprowadzić powinny do ustalenia rządu kostytucyjnego Wiktora-Emmanuela, na półwyspie, gdy tymczasem zachowana przez Anglję bezstronność, uznaną została i w kraju i za granicą, za politykę mądrości. Nadewszystko stosunki nasze z Francją stanowczo stały się przyjaźnemi. Otrzymaliśmy rękojmią traktatu handlowego, dogodnego obudwu krajom, a stosunki nasze nabrały jeszcze większéj serdeczności w skutek zniesienia, przez cesarza, systematu francuzkiego pasportów, szczególniéj na korzyść poddanych angielskich.

„Wśród tych okoliczności, rzecz prosta, iż kraj żąda znacznego zmniejszenia w tym roku wydatków na wydział wojny. Chcielibyśmy, prócz tego, zwrócić uwagę waszą na urzędowe i inne wydatki krajowe. Od kilku lat wzrosły one bystro i nadzwyczajnie, doścignąwszy liczby, głośno wymagającéj przejrzenia. Przekonani jesteśmy, iż doświadczenie nauczy, że oszczędność w wydatkach rząd wziąść powinien za prawidło swego postępowania, bo tym tylko sposobem, dadzą się zaspokoić wymagania skarbowe państwa i oczekiwania parlamentu; na téj tylko drodze pogodzić można potrzeby handlowe i pieniężne, uniknąć niezadowolenia podatkujących, uprzedzić głośne skargi, które się niezawodnie podniosą, w razie niepomyślnego żniwa, lub jakiejkolwiek innéj powszechnéj klęski,

„Zmuszeni jesteśmy oświadczyć, że widzielibyśmy z żalem i z najmocniejszą, z naszéj strony, naganą, budżet na rok przyszły zbliżający się co do swéj wysokości, do budżetu r. b. Sądzimy, iż przemawiając w ten sposób, wyrażamy mniemanie naszych mocodawców i całego w ogólności kraju. Zdawało się nam przeto, iż było koniecznėm przełożyć w. d. te uwagi, w duchu przyjaznym i ufamy, że rząd poświęci im pilne baczenie. Jesteśmy, milordzie, w. d., najpowolniejszymi sługami.

Pomiędzy podpisami, już otrzymanemi, znajdują się podpisy p. p. Sir James Duke; R. W. Crawford; Baines; Bristow; Buxton; Crossley; Ewing; S. Gurney; R. Hanbury; Mellor; Pilkington; Sir J. Shelley; pułkownika Sykes i J. A. A. Turner.

Austrja.

Peszt, *3 stycznia.* Największa radość panuje w Wojewodynie Serbskiéj, z powodu wcielenia jéj na nowo do Węgier; radość tém powszechniejsza, że złowrogie wieści poczęły były trwożyć zwolenników madżiarskiéj jedności. Hr. Rechberg, który najgoręcéj pragnie utrzymać cesarstwo, w takim składzie, w jakim od r. 1849 zostawało, porozumiał się z patryarchą serbskim Rajaczyczem i żądał od niego listu, mającego służyć za dowód, że ludność Wojewodyny poczytałaby za największe nieszczęście stratę swéj udzielności. Patryarcha, który niedawno z Wiednia wrócił, czyniąc zadość żądaniu hr. Rechberg, list napisał; ale tymczasem wejście p. Schmerling do gabinetu, zmieniło kierunek polityki austryjackiéj i to co dobre było przed kilku tygodniami, dziś jest przedmiotem potępienia. Niewiadomo, jaką drogą list patryarchy dostał się do dzienników; głos wolny całéj ludności zadaje mu kłamstwo: dziwne bo też rzeczy popisał w nim usłużny korrespondent hr. Rechberg: „Smutne wypadki 1848-49, są słowa piszącego, nauczyły nas, że Rumuni Wojewodyny, w owych ciężkich czasach byli albo obojętnymi, albo nieprzyjaznymi dla najjaśniejszéj dynastji; że Węgry naszego kraju, wszyscy bez wyjątku, podzielali zbrodnicze zamysły Kossutha i innych buntowników, że Niemcy Banatu prześcigali się w rewolucyjnych zapędach z madżiarami." Ks. Rajaczycz wnosi, że te wszystkie narodowości, zhańbiwszy się zdradą przeciw cesarzowi, nie zasługują na najmniejszy wzgląd, i że jedni Serbowie tylko, powinni panować w Wojewodynie. Wcielić na nowo Wojewodynę do Węgier byłoby wydać sprawiedliwych w ręce złych, nagradzać zdradę i karać wierność. Tymczasem Serbowie są najszczęśliwsi z téj kary. To wszystko jest pocieszającym objawem, że używane przez rząd austryjacki podstępy w 1849 r., już dziś żadnego nie sprawią skutku i że braterstwo między różnoplemiennymi obywatelami węgierskiéj korony, jest szczere i serdeczne.

Wszakże nie należy oddawać się złudzeniom, i z ostróżnością tylko, przyjmować ustępstwa rządu wiedeńskiego, lubo dzienniki stolicy są teraz nadzwyczaj szczodremi w zapowiadaniu łask, jakiemi cesarz ma osypać Węgry. Tak niedawno, wnet po powrócie z Wiednia pp. Deak i Eotwoes, którzy pośpieszyli tam na odgłos uwięzienia hr. Teleki, rozbiegła się wieść, że rząd zgodził się już na utworzenie oddzielnego odpowiedzialnego gabinetu w Węgrzech. Zapewne, pp. Deak i Eotwoes, którzy obadwa byli ministrami w r. 1848, i usunęli się przed ostatecznėm zerwaniem narodu z cesarzem, są nietylko mężami wysokich zdolności i doświadczonego patryotyzmu, ale nadto najrozumniejszymi i najoględniejszymi ludźmi stanu, jakich Węgry posiadają. Kraj cały słucha ich z uszanowaniem i o tyle czuje się spokojnym, o ile te dwie wyrocznie umiarkowania i politycznéj mądrości, potwierdzają jego postępowanie. Wszakże, wnosić stąd nie należy, że gdyby pp. Deak i Eotwoes wstrzymać się na swéj drodze umyślili, iż kraj także zatrzymałby się na drodze postępu; wiara w nich nie dochodzi do tego stopnia. I być może, że wkrótce sami postrzegłszy bezowocność częstych wycieczek swoich do Wiednia, użyją świetnych zdolności na odrodzenie sprawy narodowéj na miejscu.

Wschodnio - Niemiecka Poczta donosi, że jeszcze jedna deputacja galicyjska nie opuściła Wiednia, a już oczekiwana jest druga. Wiadomo, że w Galicji istnieją dwa pierwiastki: polski i ruski; owóż Rusini pod przewodnictwem ks. arcybiskupa unickiego Jachimowicza, mają prosić o oddzielenie ich ludności od polskiéj i zapewnienie dla nich osobnego sejmu i zarządu.

Gazeta Augsburgska ogłosiła następny rozkaz dzienny jen. Saccozzi, dowódzcy wojska księcia Modeny, wydanego w Bassano, w ostatnich dniach grudnia: „Waleczni żołnierze! Z rozkazu j. c. w. arcyksiążęcia Alberta, mam do udzielenia wam miłą wiadomość. Przeznaczeni jesteście stanowić straż przednią wojska, mającego wkrótce rozpocząć działania; i dla tego otrzymacie dziś strzelby celne. J. c. w. jest przekonany, że będziecie godnie je nosić i użyjecie ich do utorowania sobie drogi powrotu do ojczyzny."

D. 5 stycznia. Gazeta Augsburgska zawiera list bezimiennego bankiera wiedeńskiego, doradzającego nadać biletom bankowym w obiegu wartość rzeczywistą, t. j. mniejszą od nominalnéj od 30 do 40 procentów. Byłoby to cząstkowém bankructwem. Rząd nie stracił jeszcze nadziei, że pożyczka zaręczona przez sejm, wydźwignie go z okropnego stanu, w jakim skarb zostaje. Zachęca Austrję przykład Bawarji, któréj papiery, zniżone w sposób zatrważający, wnet po ogłoszeniu w tym kraju konstytucji, cudownie niemal podskoczyły i skarb przyszedł do równowagi.

Podług listów z Hermanstadtu, w Siedmiogrodziu, załoga téj twierdzy znajduje się już od pewnego czasu na stopie wojennéj; część wojsk rozłożona jest na granicy wołoskiéj. Wyprawiono działa dla uzbrojenia wąwozów Ojtoz i Temes. Niedawno wielka liczba zbiegów Szeklerskich schroniła się do Multan i Wołoszczyzny.

Wiedeń, 9 stycznia Pierwszy statut, mający służyć za wzór dla innych, wkrótce zostanie ogłoszony. Będzie to statut dla Niższéj-Austrji. Spodziewają się, że znikną w nim niedogodności pod względem prawa wyborczego, mianowicie co się ściąga do ciała wyborczego wiedeńskiego.

Wkrótce wyjdzie uniwersał sejmowy węgierski, chybaby opór arcyksięcia Stefana powrótu do dostojności palatyna, opóźnił jego ogłoszenie. Mówią, że arcyksiąże naprzód odmówił wezwaniu Węgrów; ale w drugiéj odpowiedzi, położył pewne warunki, których dotąd jeszcze nie przyjęto.

Mówią, że rząd zamyśla o utworzeniu kanclerstwa dla Galicji; kanclerzem ma być ks. Sapiecha, który przed wyjazdem do Lwowa otrzymał posłuchanie u cesarza.

Prusy.

Dusseldorf, 5 stycznia. Minister stanu baron v. Arnim umarł tu dnia dzisiejszego, w 63 r. życia. Odznaczył się on prawością i wymową, któréj używał na coraz silniejsze skojarzenie jedności niemieckiéj. Zostawił po sobie najlepszą pamięć.

Gazeta Kolońska czyni następne uwagi, z powodu mającego się poruczyć Prusom wykonania uchwały sejmu frankfurckiego, w sprawie szlezwicko holsztyńskiéj: „Łatwo jest przewidzieć nieuchronne następstwa wojny morskiéj. Po doznaniu wszystkich szkod i całego wstydu blokady duńskiéj, przez Niemcy i Prusy, będą one musiały przyjąć upakarzający pokój. Jest jeograficzna fatalność, przeciw któréj największe bohaterstwo okaże się bezsilném. Byłoby więc, nie tylko szaleństwem, ale zaślepieniem i wściekłością, poczynać podobną wojnę. Wszyscy prawdziwi patryoci, a nawet sami mieszkańcy Szlezwigu i Holsztynu podzielają nasze mniemanie."

Gazeta Pruska umieściła następne pismo: „Będzie to pociechą dla mojego ludu, w jego sprawiedliwéj boleści, ze zgonu mego najmilszego brata, kiedy pozna poczciwe myśli, tudzież rozporządzenia, pisane własną jego ręką, na przypadek śmierci. Z tych przyczyn, chcę aby rzeczona ostatnia wola, z d. 6 sierpnia 1854 r. została natychmiast ogłoszona. „*Wilhelm.*"

Pismo króla Frederyka— Wilhelma IV.

„Scharlottenburg, w dzień przemienienia P. N. J. C. 6 sierpnia 1854.

„Jak chcę być pogrzebionym:

„Jeżeli Pan Bóg zrządzi, że skończę spokojnie mój zawód ziemski w ojczyźnie i jeżeli, o co błagam go na kolanach z gorącością, królowa, moja czuła i najmilsza Eliza, mnie przeżyje, wręczoném jéj zostanie niniejsze pismo, wnet po mojéj śmierci. Co ona w niém odmieni, będzie spełnione jak gdyby tu było napisaném. Jéj rozkaz będzie moim rozkazem. Chcę jednak kiedyś spoczywać w jednym z nią grobie, o ile można najbliżéj.

„Skoro śmierć moja sprawdzoną zostanie przez lekarzy, chcę aby ciało moje było obmyte i otworzone. Serce moje ma być umieszczone w wielkiém, stosownego rozmiaru sercu kamienném, z granitu marchijskiego i złożone przy wejściu do sklepu grobowego szarlottenburgskiego pomnika (a więc u nóg moich królewskich rodziców), zamurowane w ziemi i ziemią przykryte. Miejsce mojego spoczynku ma być w kościele *Pokoju*, przed stopniami prowadzącemi do stołu św., między pulpitem marmurowym, a początkiem stallów, na lewo (z prawego rogu ołtarza) linji środkowéj nawy kościelnéj, w ten sposób aby kiedyś królowa spoczęła po mojéj prawicy. Wymieniona przestrzeń, w całéj swéj szerokości, od naszéj ławki kościelnéj, aż do ławki wprost położonéj, tudzież przerwy między ławkami ludu, aż do kolumn choru, otrzymają nową marmurową posadzkę (z pieniędzy które zostawię), w sposób najprostszy ale odpowiedny dalszéj posadzce i stołowi św. Tuż nad moim grobem, umieszczona zostanie podłużna tablica, z białego marmuru, płaska, bez żadnego wyniesienia nad poziom posadzki kościelnéj, i podobna do dwóch tablic szarlottenburgskiego pomnika. Wyryty na niéj zostawić monogrammat Chrystusa, z następnym napisem: „Tu spoczywa w Bogu Zbawicielu, z nadzieją błogosławionego zmartwychwstania i miłosiernego sądu, licząc jedynie na zasługi Jezusa Chrystusa, naszego boskiego odkupiciela, ś. p. i t. d."

„Pogrzeb mój odbędzie się w ten sam sposób jak pogrzeb ś. p. króla mojego ojca: Pochowanie zwłok nastąpi w katedrze berlińskiéj, jeżeli umrę w okolicach Berlina, ale jeśli umrę w okolicach Potsdamu, odbędzie się w kościele *Pokoju*, blizkim Sans-Souci."

„Skoro koniec życia mojego będzie sprawdzony przez lekarzów, posłać należy 150 talarów w złocie ubogim katedralnym, jak to miałem w zwyczaju czynić zawsze po przyjęciu św. Sakramentu Wielkonocnego. Podobneż summy oddane natychmiast zostaną w rozporządzenie innych kościołów, (na rzecz ubogich) w których przyjmowałem kommunję, a mianowicie: w Erdmansdorf, w Spandau, w Fischbach i Oratorjum paryzkiego."

DEPESZE TELEGRAFICZNE.

SANKTPETERSBURG 9 stycznia. Jenerał Ihnatjew i książę Kong podpisali i ratyfikowali w Pekinie 2 listopada konwencję dodatkową do traktatu zawartego w Tien-Tsin. Rzeczona konwencja potwierdza umówione rozgraniczenie wzdłuż rzeki Amur i l'Outsouri. Handel jest wolny na nowéj granicy. Kupcy rossyjscy mogą udawać się do Pekinu. Handel otwarty jest w Kachgar. Faktorje i konsulowie rossyjscy znajdować się stale będą w Kachgar i w Ourgoe. Między Kiachtą i Pekinem zaprowadzi się miesięczny bieg poczty.

MARSYLJA 8 stycznia. Wiadomości z Gaety dochodzą do dnia 5. Ogień Piemontczyków z wielką trafnością dosięgał gmachów miasta, a szczególniéj pałacu; jedna kula wpadła do pokoju, położonego nad tym, w którym król mieszka. Ministrowie wymogli, aby król i królowa przenieśli się do kazamat. Główny szpital podobnież został dościgniony; wielka liczba znajdujących się tam ranionych zostanie przeniesiona do Terracini. W zatoce nie było żadnego okrętu rossyjskiego; utrzymują, że eskadra francuska wkrótce odpłynie. Nowe haubice 80 funtowe zostały ustawione przez królewskich.

Piszą z d. 5 z Neapolu, że jenerał Polizzi został uwolniony; dalsi jenerałowie pozostali w więzieniu. Wydano rozkaz surowego poskramiania powstań; wyprowadzono posiłki do Abruzzów, gdzie wieśniaki biją się z gwardją narodową.

LONDYN 8 stycznia. Urzędowe wiadomości z Benares z d. 11 grudnia donoszą, że deputacja ze stu kupców, używających wielkiego wpływu, przyrzekła kommissarzowi rządowemu spółdziałanie do uskutecznienia poboru podatku dochodowego. Położenie w ogóle polepszyło się.

LONDYN 12 stycznia. Zakład Reutera ogłasza wiadomości z Waszyngtonu z d. 2 stycznia. Osadzenie przez wojska związkowe rozmaitych gmachów w Charlestown, zostało naganione przez deputowanych w kongressie. Prezydent Buchanan przygotowuje poselstwo. Komitet Karoliny południowéj, utworzony dla połączenia w jeden związek rozmaitych stanów, nie mógł z sobą się zgodzić. Pan Benjamin wyrzekł w senacie mowę za oderwaniem się i oświadczył, że nigdy południa niepodobna będzie siłą zniewolić. Wielkie wzburzenie obudziły te słowa, w zgromadzeniu, a mianowicie w trybunach publicznych; skutkiem czego kongres postanowił, większością 43 głosów, wniosek, że użycie siły jest niemożliwem. Przygotowania wojenne w Charlestown nie ustają.

LONDYN, czwartek 10 stycznia. Zakład Reutera ogłasza nowiny z Shang Hai z d. 21 listopada. Traktat zawarty porozlepiano na murach pekińskich. Dnia 17 główne kwatery i wojska sprzymierzone przybyły do Tien-Tsin. Lord Bruce pozostanie tam aż do wiosny. Poselstwo chińskie przebywać będzie w Anglji. Wszystkie ważniejsze porty i rzeki chińskie będą otwartemi dla handlu. Powstańcy grożą miastom, Shanghai i Ningpoo; przerażają mieszkańców wielką trwogą.

ARAD, czwartek 10 stycznia. Na ogólném zgromadzeniu komitetu aradzkiego, zebraném dzisiaj w celu wyboru urzędników, przyjęto programmat, złożony z pięciu następnnych postanowień: 1) Przywrócenie zupełne praw 1848; 2) nie będą płacone żadne podatki, ani dostarczani rekruci, chyba kiedy sejm węgierski uchwali je albo nakaże; 3) nie może istnieć żadna władza obok władz naznaczonych przez zgromadzenie hrabstwa; 4) zwołanie niezwłóczne sejmu; 5) przywrócenie całości Węgier.

LONDYN, sóbota 12 stycznia. Dziennik Times ogłasza w swojém powtórném wydaniu, depeszę nadesłaną z Wiednia tegoż dnia i donoszącą, że poseł francuzki urzędowie uwiadomił hrabiego Rechberga, że flota francuzka opuści Gaetę 19 stycznia.

BERLIN, niedziela 13 stycznia. Nadzwyczajny numer urzędowego dziennika pruskiego (Staats Anzeiger), ogłasza dzisiejszego rana amnestję, udzieloną wszystkim skazanym przez sądy zwyczajne za zdradę stanu, obrazę majestatu, albo za zbrodnie i wykroczenia, mające związek z wykonywaniem praw politycznych, obywatelskich, albo za opór władzy publicznéj, albo z powodu zaburzenia spokojności powszechnéj. Amnestja stanowi, że osoby, które uniknęły przez ucieczkę sądu lub wyroku za zbrodnie wyżéj wymienione, mogą swobodnie wrócić, bez żadnéj przeszkody, do kraju. O tych, na których już wyrok zapadł, minister sprawiedliwości wejdzie z przedstawieniem o ułaskawienie. Co się ściąga do winowajców, potępionych przez sądy wojenne, król wyrzeknie o nich, gdy podadzą prośby o przebaczenie.

PARYŻ, niedziela 13 stycznia. Nowiny z Gaety pod dniem 8 stycznia, donoszą, że od sóboty piekielne bombardowanie rozpoczęto. Z Neapolu tego dnia piszą, że zbiegowisko zostało rozproszone i że liczne zaszły uwięzienia, między któremi pochwytano muratistów. W Palermo było też okropne zaburzenie. Dano rozkaz uwięzienia pana Crispi. Gwardja narodowa oparła się i zmusiła ministrów do złożenia władzy. Z Rzymu z d. 8 donoszą, że ksiądz Merode zostaje na miejscu; zaprzeczają wieści, według któréj Austrja miała żądać zmian w konkordacie.

RZYM, poniedziałek 14 stycznia. Król Neapolitański przyjął bezwarunkowo przełożenia Francji, ściągające się do zawieszenia broni, przez powolność dla cesarza Francuzów. Jenerał Cialdini odpowiedział, iż musi odnieść się do króla Wiktora-Emmanuela, lecz odrzucił propozycję wstrzymania robót oblężniczych.

TURYN, poniedziałek 14 stycznia. Dziennik Opinione oznajmuje, że część floty francuzkiéj opuściła dziś Gaetę. Kroki nieprzyjacielskie z obu stron wstrzymano.

WIEDEŃ, poniedziałek 14 stycznia. Hrabia i hrabina de Montemolin (pretendent do tronu hiszpańskiego, syn Don Carlosa) zeszli z tego świata dziś w Tryeście, ze szkarlatyny. Hr. Motemolin urodził się d. 31 stycznia 1818; poślubił 10 lipca królewnę Karolinę, córkę ś. p. pamięci króla Obojga Sycylji, Ferdynanda II, urodzoną 29 lutego 1820. Małżeństwo to było bezdzietne.

PESZT, wtorek 15 stycznia. Zgromadzenie ogólne hrabstwa Nytrańskiego uchwaliło następne postanowienie: żądanie ministerstwa węgierskiego odpowiedzialnego; zwołanie sejmu na zasadzie praw r. 1848; wycofanie wojsk nie węgierskich z królestwa; przysięga, którą wojska węgierskie wykonać powinny na konstytucję 1848 r.; utworzenie gwardji narodowéj; nadanie konstytucji liberalnej krajom austryjackim.

CATTARO, poniedziałek 14 stycznia. Wieść rozbiegła się, że d. 9 stycznia, 2,000 Czarnogórców podstąpili pod Spucz; że dotarli aż do bram téj twierdzy, lecz że ich odparto ze znaczną stratą.

PRAGA 12 stycznia 1861. Dziś o godzinie szóstéj po południu umarł Wacław Hanka, jeden z najzasłużeńszych filologów słowiańskich.

PRZEGLĄD MIEJSCOWY.

Wilno.

Otoż i karnawał; rozpoczął się na dobre, ale tylko wedle kalendarza, bo o zabawach nie słychać wcale, w mieście cicho, spokojnie; jedni nie powrócili ze wsi, ze świąt spędzonych w kółku rodzinném, inni chociaż i popowracali, nie tak skoro do zabaw się garną; zresztą mniejsza o powody, dosyć na tém, że fizjonomja miasta poważniéj jakoś wygląda w roku bieżącym niż lat zeszłych.

Zdarzało się nam widzieć kółka towarzyskie rozmaitych warstw, ale jakże się one odmieniły i jak zyskały na téj odmianie. Nie jest to ospałe odrętwienie, ani też lękliwe oglądanie się na konwenansowe formułki, bynajmniéj, życie silniejszém bije tętnem, a owe barykady chińskie, które dawne przesądy i nałogi sukcessyjne wzniosły, i tamę wzajemnemu porozumieniu się stawiły, obecnie rozsypały się bez śladu, a przynajmniéj rozrzucano je bez żalu, bez zawziętości i gniewu.

Chociaż ktoś tam powiedział, że porównanie nic nie dowodzi, lecz przypatrując się uważniéj fizjonomji naszego towarzystwa, mimowoli wpadliśmy na porównanie, stanął nam przed oczami pewien obrazek któryśmy, widzieli w pracowni jednego z naszych myślących artystów.

Przedstawia on buduar młodéj kobiety, z całą wytwornością urządzony, mnóstwo tam cacek, bawidełek, i tualetowych przyrządów, na drugim planie spostrzegamy garderobianę z przygotowaną suknią balową i innemi dodatkami niewieściego stroju; a w pośrodku młodą dziewczynkę nawpół już ubraną, z jakimś listem w ręku, z zadumą na twarzy... Oczy jéj, przymglone, wpatrzyły się w nieskończoność, jakby chciały przyszłość wyczytać, a z pod powieki ukradkiem łezka się wymyka, na rozpogodzoném czole, jako w księdze roztwartéj czytać można poważniejsze myśli, nie mające nic wspólnego z ém co ją otacza, usta okrasiły się nieodgadnionym

uśmiechem oczekiwania czy nadziei, a lewa rączka machinalnie rozplata warkocz trefiony.

Na twarzach panien garderobianych widać zdziwienie, jakby nie pojmowały usposobienia swéj pani.

O, bo wiele jest rzeczy, niedających się z razu pojąć, ani też dowieść faktycznie, są chwile w życiu kobiety, gdy jedno silniejsze uderzenie serca, jest źródłem całego szeregu myśli zacnych, poświęcenia bez granic i jest w stanie swawolne dziewczę przeistoczyć w poważną niewiastę, w bohatérkę niemal. W życiu towarzystwa również są chwile podobne.

Teraz mi darujecie, łaskawi czytelnicy, moją słabość do porównań, które może nic nie dowodzą, bo jakże tu w obec prawd wzniosłych, w obec zaledwie dających się pochwycić, wciąż nowych życia objawów, pragnąć podciągnąć wszystko pod rachunek i cyfr powagą trafiać do przekonania.

Rachunek jest dobry i nieomylny, gdy jedną formułą zwiąże prawo planet obrótu, ale nie starajmy się pod nią podciągnąć serc bicie, nie pragnijmy podług niego życia sformułować.

Na mocy téj zasady, mamy prawo umyć ręce i nie przedstawiać wam łaskawi czytelnicy, statystycznéj tablicy tych zmian, jakim stopniowo ulegała fizjonomja naszego towarzystwa. Zajrzyjcie sami wewnątrz swych piersi, a pewno dopatrzycie zmiany, z któréj wszyscy cieszyć się będziecie, i jak owe dziewczę, co zapomniało o sukni balowéj w obec poważniejszéj nowiny co jéj list głosi, może zgodzicie się z nami, że minął już czas uciechy i pustéj swawoli, że już dawno pora skupić wszystkie sił zasoby dla pracy, któréj odłożyć nie można, bo życie nie czeka. Każdy dzień, wciąż nowe przynosi potrzeby, wciąż nowe wkłada na nas obowiązki.

Zaprawdę, czas już poważniéj spójrzeć dokoła siebie, niech każdy na swém stanowisku czyni swoją powinność, a wszystkim niech przewodniczy miłość i gotowość poświęcenia, swoich osobistych celów i korzyści dla bliźnich i dobra ogólnego.

Gotowość taka będzie najlepszą rękojmią wcielenia prawdy w życie.

Zdążajmy wciąż naprzód po gościńcu przeznaczeń, ręką Opatrzności wytkniętym, z wiarą że cel naszéj pielgrzymki jest święty, na wzór owych trzech króli wschodu, których uroczystość obchodziliśmy niedawno, a którzy z okiem wlepioném w gwiazdę, co ich do Betleem prowadziła, śpieszyli uderzyć czołem przed kolebką Zbawiciela świata, przed nowéj ery zaraniem.

Uroczystość Trzech króli, bodaj w jedném tylko Wilnie, jest świętem ludowém i zachowała w formie jeżeli nie w treści charakter misteryj dawnych.

Najprawdopodobniéj, że dawniéj uczniowie burs jezuickich, niewielkiemi gromadkami, poprzebierani za królów, z gwiazdą papierową na czole, chodzili od domu do domu, z powinszowaniami i pieśniami. Poźniéj ten zwyczaj spadł w sukcessji na inne stany, ale do pieśni pobożnych téj uroczystości, każdego razu przybywały światowe zwrótki. Obecnie w wigiliją święta i wieczorem w samo święto Trzech Króli, mnóstwo kompanij, w hełmach i koronach ze złotego papieru, w jakichś nieprawdopodobnych strojach, z twarzami weglem czy sadzą malowanemi, i z gwiazdą do każdych drzwi kołaczą, wypisując na nich † C † M † B, czyli Kasper, Melchjor i Baltazar, co ma wedle ludowego pojęcia szczęście domowi przynosić.

Po wsiach niewolno nawet przez rok cały ścierać tych liter, jest bowiem przekonanie, że skoroby nieuważna ręka starła te znaki, zwiastujące radość ogólną z Narodzenia Zbawiciela, jakieś nieszczęście koniecznie dom ten dotknąć musi.

Każda z tych królewskich kompanij, ma swoje piosenki, które zapewne od lat wielu przechodzą prawem ustnéj sukcessji, z jednéj gromady na drugą. Ciekawą byłoby rzeczą, gdyby się też kto chciał poświęcić i zebrać wszystkie piosnki doczesne, zostające jako spuścizna dawnych czasów; w piosnkach takowych wspominają się nazwiska zalety i wady, a nawet śmieszności ludzi już nieżyjących, a którzy niewiadomo nawet, kiedy żyli.

Zdarzyło się nam słyszeć nazwiska Majewskiego i Bondy w jednéj piosence królewskich pieśniarzy, jaką rolę grały te osoby trudno zgadnąć—dosyć tego, że chociaż z jakimś Majewskim obchodzono się bez żeny, wyliczając jego śmieszności i kończąc zwrótką:

Oj, panie Majewski,
Źle panie Majewski.

to też za to p. Bonda wielkich dostąpił zaszczytów, głównie za to, że duszkiem ogrom wina wypijał.

Na próbę podeszliśmy do tego króla, co z takim ferworem i zapałem opiewał cnoty bachusowe Bondy, z zagadnieniem:

— A co myślisz mości królu, możebyście, tak, wedle chłodu pozwolili sobie, za przykładem tego sławnego Bondy?

— Nie panisko, odparł wielki mąż na czarno malowany, ściskając mię za kolana, wcale nie po królewsku; ot dwa tygodnie, jak szlubowaliśmy u św. Jana, że ani kropli do ust nie weźmiemy, a to święta rzecz, żeby to pan wiedział jak ksiądz dobrodziéj pięknie mówił, ot i ja prosty człowiek a wszystko zrozumiałem i wstyd było za dawne grzechy, a serce tak ściskało się, jakby je kto w szrubsztaku zakręcał. A więc to panisko nie chcecie, jak mówił ksiądz dobrodziéj, wyrzec się tego co nas gubi, i dzieci nasze gubi i dolę naszą gubi.

Na taką odezwę, trudno było cóś odpowiedzieć, podziękowałem tylko poczciwemu królowi za naukę moralną, i z uśmiechem zapytałem:

— Jakże to, mój królu, sam nie pijesz, a chwalisz Bondę, że pił dobrze?

— Bonda, to co innego, to było dawniéj, a zresztą to musiał być pan wielki, a nam biedakom pić nie wolno, zresztą kto jego tam wie jaki on był człowiek, już ten najlepiéj wiedzieć musiał co tę pieśń układał, a my prości ludzie śpiewamy, bo nas nauczyli. A może to dawniéj i dobrze był i cnotliwie, pić dużo, ale teraz, to proszę pana, ksiądz dobrodziéj nas inaczéj nauczał.

— A któż tę pieśń układał?

— Już co tego to nie wiem; mnie nauczył Szymon stary, co to pan może wie, najlepszy był czeladnik ślosarski, ale taki butny i hardy, że go cechowi na majstra pasować niechcieli, a jego także nauczył,—ot zaraz przypomnę, a panisko musieli słyszeć, bo u nas przy każdym warstacie o nim wspominają, już to lat dużo dziesiątków jak on żył, a chlubą był rzemieślników wszystkich, panowie jemu się kłaniali.

— Ale jakże się nazywał?

— Otoż to, że nie pamiętam; a wy panie Janie nie pamiętacie,— wracając się do drugiego króla.

— Tać pamiętałem, jakby to jego... Czarno... Czarno... nie nie Czarnocki, ale wiem, że od czegoś czarnego się zaczyna.

E... na co to panom mówić, pan sam zgadnie, wszak u panów to wszystko zapisano.

Ucieszył mię niepomału, ta dobra opinja o nas poczciwego rzemieślnika, że *u nas wszystko zapisano;* nie chciałem mu zaprzeczać, ale w duchu pomyślałem sobie:—O! więcéj zapisano w waszych sercach prostych i zacnych, niż w księgach naszych, żeby też Bóg pozwolił zbliżyć się bratnio do was, i umieć przeczytać to wszystko, co tam *zapisano*, wielebyśmy mieli do nauczenia się, wielebyśmy znaleźli przykładów godnych naśladowania.

Jeżeli to przekonanie o nas schlebiało naszéj miłości własnéj, to z prawdziwą roskoszą przekonaliśmy się ze słów ślosarza, po królewsku przybranego, że święta sprawa wstrzemięźliwości, co przed miesiącem jeszcze chwiać się zaczynała, obecnie dzięki gorliwości kapłanów naszych, znowu ziarnem zbawienia, zapadła w piersi ludności Wileńskiéj, a oczy ich niezamglone wyziewami nałogu, jaśniéj widzieć będą swoje potrzeby i obecne swe stanowisko, śmieléj spójrzą w przyszłość, a zagrzani wiarą, nauczeni przykładem, wejdą na ścieżki nowe.

Do nas więc, którym wola Opatrzności kazała być starszemi braćmi w rodzinie społecznéj, należy dać dobry przykład z siebie młódszemu rodzeństwu.

Z prawdziwą radością zapisać w naszéj kronice możemy kilka faktów pocieszających, które najdowodniéj świadczyć mogą, że nie brak nam podobnych przykładów.

Oto dowiadujemy się, że w powiecie Lidzkim, gdzie wstrzemięźliwość ogólnie rozwija się pięknie i ku zbudowaniu innych powiatów, kilkanaście domów obywatelskich, pragnąc dać z siebie przykład swoim włościanom, związali się słowem szlacheckiém, aby pod ich dachem nigdy żaden trunek kosztowny nie postał. Gościa raczyć uprzejmością i sercem bratniém, ale nie zalewać go winem. Oto jest dewiza tych co podali sobie ręce, w celu usunięcia zbytku z domów swoich. A czas, wielki czas, był po temu.

Przyzwyczajenie do życia nad możność, do zbytków które do nas przyszły z obcéj strony, podkopywały najwznioślejsze zachcenia, najszlachetniejsze projekta, nie pozwalając im urzeczywistnić się dla braku środków rozporządzalnych, z powodu niemożności zmniejszenia wydatków i ograniczenia potrzeb sztucznych.

Z radością witamy ten pierwszy krok, na drodze oszczędności, która musi wydać zbawienne owoce, bo usuwa zbytki, które były hamulcem szlachetnych serca popędów.

A te serca, Bóg widzi, zacne i szlachetne; do nich nie trzeba pukać dwa razy w imię poświęcenia i ofiary, a skoro się uwolnią z więzów sztucznych, napływowych przyzwyczajeń i nałogów, same się dopomną o swe prawa, o prawa przodkowania zawsze i wszędzie, gdzie dobro ogólne, będzie tego po nich wymagać.

I z chlubą się wywiążą z téj prawdy żywotnéj i świętéj: „*Wymagajcie od nich wiele, bo wiele im było dano.*“

Ponieważ już zaczęliśmy wymieniać pocieszające fakta wstrzemięźliwości, szerzącéj się we wszystkich stanach, nie możemy pominąć wiadomości, którąśmy otrzymali niedawno, z gubernji Mińskiéj, która dotychczas oprócz izolowanych aktów poświęcenia się prawdziwie obywatelskiego, nie mogła iść w zawody z Kowieńską i Wileńską gubernjami, w wielkiém dziele szerzenia wstrzemięźliwości. Przytaczamy niżéj, ustęp z listu jednego z naszych łaskawych korrespondentów, brzmi on następnie:

„Przesyłamy do wiadomości publicznéj fakt dokonany przez skromnego pracownika w winnicy Pańskiéj, który zasługuje na uznanie i szacunek.

„Proboszcz Kamieński, ks. Juljan Kolendo, obejmując przed kilkunastu laty pomienione probóstwo, znalazł kościoł parafjalny prawie bez pokrycia, ołtarze zaniedbane, i wszystko zagrożone niechybną ruiną; a co najgorsza parafjan tak odwykłych od kościoła, że na nabożeństwo zwyczajne w niedzielę, rzadko kto więcéj przychodził, oprócz sług kościelnych i dziadów szpitalnych, ale za to karczmy i szynkownie przepełnione bywały ludem.

„Zadanie było trudne, przeciwności wiele, ale święte powołanie kapłana, nie pozwalało mu ugiąć się pod nawałem pracy. Przedewszystkiém wziął się do reperacji kościoła, a przy pomocy ofiar okolicznych obywateli rychło dokonał, a przez wprowadzenie przykładnego nabożeństwa, gorliwy i przystępny wykład katechizmu i prawd Ewangelicznych, taki wywarł wpływ na parafjan, że zaczęli uczęszczać do kościoła, z pobożnością słuchać nauk duchownych i odnosząc z nich coraz większą korzyść odwykać powoli od domów szynkowych, przy każdéj bowiem zręczności, czcigodny kapłan objaśniał i wpajał słuchaczom przekonanie o zgubnych skutkach nałogu, podkopującego ich dobry byt, zdrowie a nawet poczciwość.

„Parafjanie Kamieńscy, prawie zupełnie już byli przygotowani, gdy doszła wieść o szerzącéj się wstrzemięźliwości, w djecezjach Żmudzkiéj i Wileńskiéj.

„Zaledwie kapłan powołał w imię nauki Chrystusa do wyrzeczenia się zgubnego nałogu, wszyscy parafjanie Kamieńscy bez wyjątku zaciągnęli się pod sztandary wstrzemięźliwości i dopiero już doświadczają błogich skutków téj zmiany.“

Widzimy z tego przebiegu prac skromnych, a w zbawienne obfitych owoce, że byle dobra wola, byle zapał chrześcjański, a wszystkie przeszkody przełamać się dadzą.

Niech przykład proboszcza Kamieńskiego i innych zagrzeje do pracy podobnéj, z zaparciem się swoich osobistych celów i widoków, a sprawa wstrzemięźliwości, ta główna rękojmia bytu, zakwitnie wszędzie.

— Przejdźmy teraz do spraw codziennych, najprzód winniśmy wam zakommunikować smutną nowinę. Oto przed tygodniém, spalił się młyn wodny, drewniany o 12 kamieniach, przy ulicy Popławskiéj, Wojewódzkim zwany, a w nim, jak mówią, ogromne zapasy zboża. Pożar, pomimo usilnych starań straży ogniowéj, trwał przez noc całą, ratować młyn było niepodobieństwem, starano się tylko niepozwolić rozszerzyć się pożarowi.

Strata podobna, dotyka wszystkich mieszkańców miasta, bo się odezwie w cenie chleba.

Powód pożaru niewiadomy; zdaje się, że wina po nieostróżności młynarzy, bo ogień wszczął się wewnątrz budowli.

— P. Colassanti przed odjazdem, jakeśmy słyszeli, ma zamiar dać koncert w sali klubowéj, w którym mają brać udział p. Bonoldi i p. Kahle, a chociaż koncerta nie udają się ogólnie, może też przez wzgląd, że takich artystów jak p. Colassanti, nieczęsto zdarza się słyszeć, publiczność zbierze się liczniéj niż uprzednio.

— P. Władysław Bartoszewicz, solista opery komicznéj w Paryżu, który dał się słyszeć przed dwóma miesiącami publicznie w mieście naszém, i dobrego doznał przyjęcia, od swoich,—obecnie wraca do czekających nań obowiązków w Paryżu. Słyszeliśmy, że po drodze zatrzyma się na dni kilka w Kownie i ma zamiar dać się tam słyszeć publiczności; bez wątpienia publiczność Kowieńska zechce skorzystać z téj okoliczności i przekonać się o postępach naszego skrzypaka.

Wacław Przybylski.

PRZEGLĄD ROLNICZY.

Parę słów odpowiedzi p. J. J.— Nowe dziełko p. t. Gawęda Rolnicza między Litwinami.— Zakład praktycznego leśnictwa, ogrodnictwa i pszczolnictwa w leśnictwie Brok w gub. Płockiéj nad Bugiem. — Żniwiarka Burgesa i Keya wyrobu Ekerta w Berlinie.— Kartofle Wieluńskie i żyto Szampańskie.

Artykuł nasz o *wypieku, chleba i mlewie* u nas w Wilnie wywołał oppozycją p. J. J., który podnosi tę kwestją aż do wysokości kwestji ogólnéj ekonomji kraju a mianowicie swobody przemysłu i handlu. Że jesteśmy wyznawcami zasady swobody przemysłu i handlu to niejednokrotnie w kwestjach przez nas podnoszonych zdanie nasze wyraziliśmy. Co się tycze wypieku chleba u nas w Wilnie, to środki przez nas podawane uważamy nie jako radykalne, bo tych użyć obecnie niepodobna, lecz jako środki doraźne, zmniejszające złe na tak wielką skalę praktykowane. Że nas do tego skłoniło ogólne dobro, i wyraz ogólnéj skargi mieszkańców, i osobiste przeświadczenie, nie własne straty, to w tym razie jesteśmy zupełnie bezstronni, bo sami chleba niekupujemy lecz dzięki Bogu zagon nas nie piekarz karmi. Jak uprzednio wyrzekliśmy, tak i obecnie powtarzamy, że założenie młyna parowego w Wilnie nieobliczone dla kapitalisty i ogółu przyniosło by korzyści. Piekarnia również wielkie przyniosłaby dochody, lecz wpierw trzeba nam się oswobodzić z niewoli żydowskiéj, żydzi bowiem jak wszystko tak i chleb powszedni w swoich dzierżą rękach, a piekarze katolicy są w najściślejszéj z nimi współce, każdy zakładający na swą własną rękę upaść musi na pierwszym kroku. Żywym przykładem jest żyjący tu w Wilnie p. Rymkiewicz, któryż przed kilku laty założył piekarnią i w parę miesięcy zamknąć musiał, jedynie z powodu prześladowania na każdym od żydów spotykanego kroku. O wszystkiém co doświadczył ogromną skandaliczną księgę można by napisać, dość gdy powiem, że pominąwszy, przekupywanie jego piekarzy, podrzucanie ognia do piekarni i t. p. przy mlewie dwóch żołnierzy postawionych na warcie przy kamieniu, nie mogli przeszkodzić wsypaniu do mąki sadzy, żerstwy kowalskiéj i innych nieczystości.

Ciężko to żydzi kwitują na naszéj Litwie swoją niewolę Egipską i niewiadomo, czy zjawi się dla nas Mojżesz w postaci Tow. rolniczego i domów handlowych, który nas od tego oswobodzi, i przed laską którego, cudowną potęgą sił zbiorowych, pękną zapory granitowe krępujące nasz handel i przemysł i źródło pomyślności wypłynie.

Wracając teraz do szanownego p. J. J. sądzimy żeśmy się uprzednio niejasno wytłómaczyli lub nie domówili wszystkiego i z tego powodu otrzymaliśmy pismo jego tak pięknie i zdrowo myśl tę jako zasadę rozbierające; gotowiśmy częściéj niedopowiedzieć myśli naszych, jeśli tém zyskalibyśmy więcéj podobnéj treści artykułów dla pisma naszego, tak pożądanych a dla ogółu korzystnych.

Prawdziwą niespodziankę i miły na nowy rok upominek zrobił dla wszystkich nas rolników *p. Adam Bućkiewiez* swém dziełkiem *Gawęda Rolnicza między Litwinami.* Traktuje on w niéj gospodarstwo parobczane we wszystkich szczegółach, wskazuje wszystko co nas czeka jak się do tego przysposabiać, jak się wziąść do tego należy, oznajamia z każdą na pozor drobnostką, ale niemniéj ważną bo z nich się całość gospodarska formuje, a co nadewszystko, że w każdéj rzeczy widać to praktyczne dotknięcie i tę pewność zdania wyrobionego znajomością gospodarstwa, znajomością kraju, ludu, jego dobréj i złéj strony, znajomością środków jakiemi nań działać można, jedném słowem znać tu człowieka nauki, pracy, energji i wytrwania, który temi czynnikami zdobył swemu gospodarstwu to stanowisko, do którego wszystkim nam dążyć wypada.

Nie zmniejszając w niczém zalet istotnych tego dziełka pozwolimy sobie zrobić parę zarzutów.

1) Dla czego autor w dziełku tak popularném (bo takiém bez wątpienia Gawęda jego się stanie) radzi jako przewodnik dla poczynających rolników dzieło Michała Oczapowskiego? Dzieło to, lubo pierwsze w naszéj literaturze rolniczéj, traktuje w gospodarstwo jako naukę i to dość szczegółowo, przecież nigdy ani elementarném ani popularném być nie może, a to z tego najprzód powodu, że niema żadnéj cechy oryginalności, ani zastosowania do kraju, ale jest po prostu systematycznym wypisem z wszystkich autorów obecnéj epoki, tak że na każdym kroku natrafiamy na zdania różnych agronomów żywcem postawione, najczęściéj z sobą sprzeczne, a sąd i wybor zostawiony samemu czytelnikowi, na co trzeba być już światłym agronomem i doświadczonym a nie początkującym gospodarzem. Więcéj powiem, wszystkie przedmioty w tém dziele gdzie tylko teorja choć z cieniem praktyki występować musi, są traktowane lekko i pobieżnie, a właśnie są to miejsca najważniejsze, jak całe rozdziały o płodozmianach, i przejścia z jednego gospodarstwa na drugie.

2) Dla czego autor, podnosząc tyle ważnych kwestji w obecnéj reformie, nie rozwinął w całéj sile konieczności Towarzystwa rolniczego, bez którego nie pojmujemy nie tylko postępu ale nawet w obecnéj chwili egzystencji naszych gospodarstw, wszakże to jedyna tama tych zgubnych konkurencij, które słusznie autor przewiduje i ich następstwa kreśli.

3) Żaląc się na naszych oficjalistów, i obok tego widząc brak ludzi znających gospodarstwo oraz wdrożonych do pracy, porządku i regularności, w miejsce pół środków czemu autor nie rozwinął potrzeby założenia w każdéj gubernji szkół rolniczych praktycznych, jak to jest wszędzie, skądby właśnie wychodzili ludzie oznajomieni ze wszystkimi gałęziami gospodarstwa, ludzie fachu i wdrożeni do pracy, porządku i regularności, co jest głównym warunkiem dla dozorcy gospodarstwa parobczanego.

W tych to szkołach znalazła by miejsce i owa zaściankawa i okoliczna szlachta, na którą tak autor powstaje, a która obecnie nie mając środków dania wyższego ukształcenia dzieciom, marnieje.

Prawda, że w drobnéj szlachcie jest wiele złego, że w gub. Grodzieńskiéj, gdzie jest tyle zaścianków i okolic szlacheckich, autor z bliska złemu mógł się napatrzeć i zło jaskrawo się w oczach jego przedstawić mogło, ale gdzież złego niema? Przecież i tam dopatrzeć byśmy mogli wiele i bardzo wiele dobrego a może tém większego, że pod pewnym względem jedynego..... Dla tego też nie godzi się rzucać anatemy na szlachtę zaściankową, kiedy wiemy czém ona kiedyś była w narodzie i że z niéj to właśnie wychodzili owi ludzie, «co to panie, nie z soli ani roli, ale z tego co boli» stawali się luminarzami dziejów naszych.

Na tém kończę te kilka uwag, które mi własne przekonanie czytając Gawędę p. A. Bućkiewicza natchnęło, nie ujmując nic realnéj wartości dzieła ze wszech miar użytecznego i zjawiającego się właśnie na dobie.

Otoż otwarty został nader ważny dla kraju zakład praktycznego leśnictwa, ogrodnictwa i pszczolnictwa w wzorowem leśnictwie Brok, w gub. Płockiéj nad Bugiem położonego.

Instytucja ta utworzoną została za staraniem rz. radcy stanu Feliksa Gumińskiego i dla tego ku wiecznéj pamięci osada cała, gdzie się instytut znajduje, Feliksowem została nazwana.

Kurs nauk teraz w zakładzie od lat 2 do 3-ch. Uczniowie uczą się praktycznego leśnictwa, ogrodnictwa, rybactwa, jedwabnictwa, oraz nauk pomocniczych, jakiemi są botanika, mineralogja, zoologja, miernictwo i niwellacija.

Przewodnikiem w praktyce mianowany Wojciech Jastrzembowski, znany naturalista i odpowiednia ilość nauczycieli, wszystko ludzi specjalnych.

Przy takich środkach do wykształcenia Król. Pol. spodziewać się może mieć wkrótce doskonałych gospodarzy leśnych, jak szkoły rolnicze praktyczne w każdéj gubernji wydadzą uzdolnionych oficjalistów i gospodarzy rolnych. Cześć p. F. Gumińskiemu, który z wysokości zajmowanego przezeń stanowiska tyle dobrego dla kraju działać chce i umie!

Ważną otrzymaliśmy wiadomość, że premjowana na ostatniéj probie żniwiarka Burgesa i Keya, któréj główną wadą była ciężkość i drogość, bo ważyła od 40 do 50 pudów i kosztowała w Rydze 420 r. teraz taż sama machina wyrobu Ekerta w Berlinie waży tylko 25 pudów i kosztuje 184 r. sr., żnie zaś dziennie parą końmi 5 dziesięcin.

O kartoflach wieluńskich, które pierwotnie zaprowadzone u p. Leona Grabowskiego w Kopani w Wadowickim cyrkule a które teraz upowszechnione w wielu miejscach w Galicji i księstwie Poznańskiém, piszą stamtąd z wielkiemi pochwałami, i w roku obecnym powszechnego nieurodzaju wydały piękny plon i są zupełnie zdrowe. U nas zwracam jeszcze raz uwagę na kartoflę zameczkowską, która na upowszechnienie ze wszech miar zasługuje.

Żyto Szampańskie sprowadzone do dóbr Tomkowo w Lipnowskim w Król. Pol. z Prus w ilości 20 szefli, wysiane w stosunku 14 gar. na morg 300 prętowy wydało jak świadczą roczniki Gosp. krajowego 140 korcy warszawskich, korzec waży 224 funty.

(*T. S.*)

Przegląd pism czasowych.

Gazeta Warszawska (do 5):

— Odmiatając na bok miłość własną prowincjonalną, wyznać nam nieraz przychodzi, iż Królestwo Polskie uprzedzało nas i uprzedza pod wielu względami w urządzeniu stosunków wewnętrznych i rozwielmożeniu gospodarstwa narodowego. Towarzystwo kredytowe ziemskie, towarzystwo rolnicze, domy zleceń, po całym kraju rozsiane już liczne ochrony, i wiele innych pożytecznych krajowi ustanowień, miły sprawiają widok i daja rękojmię dla przyszłości. Niemając nic godnego do postawienia naprzeciw temu, musimy nadto wyznać, że i niebardzo się kwapimy ku robocie. Nowy dowód tego przyniosła nam właśnie G. W. W niektórych okolicach Królestwa obywatele rolnicy, przygotowując się do nastąpić mającéj przemiany stosunków włościańskich, czynią już dziś usiłowania celem zapewnienia stałéj pomocy gospodarstwu z rąk ludności bezrolnéj. W tym celu odbywają studja rozmaitych systematów najmu robotnika, a gdzie niegdzie, jak np. w Kozienieckiém, daléj się już posunięto, bo stawiaja budynki dla czeladzi tak, aby zwrót ku nowéj drodze zastał, o ile możności, rolnictwo przygotowaném. U nas o niczém podobném ani słychać, chociaż na tych samych pobudkach, jakie kierują obywatelstwem w Królestwie, równie niezbywa. Drugim niemniéj ważnym faktem, jest zaprowadzanie regularnego gospodarstwa leśnego. Od czasu jak nowa pożyczka towarzystwa kredytowego ziemskiego zawarowała konieczność urządzenia lasów, co raz większa liczba dóbr ku temu się bierze, i cyfra majątków, w których systematyczne gospodarstwo leśne wprowadzono, już dzisiaj jest bardzo znaczna. Ostatniemi czasy w dobrach Ratów i Radzanów w Mławskiém na 65 włokach lasu urządzono ośmdziesięcioletnie poręby. Projektują nadto zaprowadzenie administracji spółkowéj tam gdzie lasy są niewielkie; korzyści z urzeczywistnienia tego projektu tak są widoczne, iż zbytecznémby było nad tém się rozwodzić. Niechcemy daleko sięgać, ażeby nas o przesadzone wymagania niepomówiono; lecz dla czegoby w okolicach Wilna niezaprowadzić umiejętnego gospodarstwa leśnego? Wskutek wyniszczenia poblizkich lasów i przeprowadzenia kolei żelaznéj, do któréj siła drzewa będzie potrzeba, cena tego materjału nader szybko poszła w górę, tak, że dziś za furę drew płacimy dwa razy tyle co przed kilkoma laty. Jeżeli gospodarstwo leśne będzie i nadal tak prowadzone jak dzisiaj, to jest wcale nieprowadzone, tylko zdane na łaskę bożą,—to niedługo czekać przyjdzie na potrojenie ceny, wreszcie na zupełny niedostatek budulcu i opału w okolicach Wilna. Wiadomo nam, iż byliśmy nieraz ostrzeliwani najrozmaitszemi zarzutami za podobne wystąpienia; i owszem! w sprawach kraj obchodzących lepiéj gadać niż milczeć, dobrze więc, że choć gadają;—ale jeszcze lepiéj byłoby robić niż gadać!

— W kilku słowach podaliśmy już wiadomość o zawiązaniu się we Lwowie stowarzyszenia wzajemnéj pomocy rzemieślników; obecnie, otrzymując szczegółowsze o tém doniesienie z listu ze Lwowa, uważamy za pożyteczne i nauczające, jako przykład dla innych, powtórzyć je tutaj. Zawiązane pod wezwaniem bł. Jana z Dukli stowarzyszenie rzemieślnikow lwowskie, do którego jak najliczniéj przystąpili mieszczanie tamtejsi, ma na celu wspomagać ubogich rzemieślników, tudzież wdowy po nich i sieroty, bądź datkiem pieniężnym, bądź zaopatrzeniem w konieczne do prowadzenia rzemiosła materjały i potrzeby domowe. Każdy przystępujący do stowarzyszenia płaci tygodniowo do kassy funduszowéj po 10 centów. Uzbierana summa dzieli się z końcem roku w ten sposób, że trzy części mają być obrócone na zapomogi dla potrzebujących wsparcia członków stowarzyszenia, czwarta zaś część pozostaje w kassie na utworzenie funduszu rezerwowego. Aby mieć prawo do wzięcia zapomogi, potrzeba być już przynajmniéj od roku członkiem stowarzyszenia, regularnie uiszczającym składkę tygodniową. Wydział kierujący sprawami stowarzyszenia składają wszyscy przełożeni istniejących we Lwowie korporacij rzemieślniczych i przemysłowych, oraz inne osoby z grona członków stowarzyszenia wolnym wyborem powołane. Gdyby kiedykolwiek stowarzyszenie miało się rozwiązać, bądź z nakazu rządu, bądź z własnéj woli, majątek jego funduszowy przypada w całości na korzyść lwowskiego miejskiego domu ubogich i kalek przy kościele św. Łazarza. Jeżeli prawdziwém dobrodziejstwem dla rzemieślnika, chroniącém go nieraz od nędzy i jéj następstw okropnych pod względem moralnym, są zakłądy publiczne pożyczkowe; o ileż więcej dobroczynne jest stowarzyszenie, które przychodząc z pomocą w każdym razie istotnéj potrzeby, nieżąda zwrótu udzielonéj zapomogi. A że głównym warunkiem, aby być przyjętym na członka i mieć prawo do otrzymania wsparcia, jest nienaganny sposób życia, a szczególniéj nieoddawanie się nałogowi pijaństwa, stowarzyszenie przeto będzie zarazem wywierało znaczny wpływ na podniesienie moralności. Każdy uczciwie prowadzący się i pracowity rzemieślnik może odtąd być pewnym, że w razie nieszczęścia i istotnéj potrzeby, znajdzie dłoń braterską pomocną i niebędzie opuszczony na pastwę lichwy i niedostatku.

— Ze sprawozdań o sprzętach przeszłego lata G. W. podaje wiadomość, że żniwo w krajach najbardziéj zaludnionych i najbogatszych w Europie, mianowicie w Anglji, Belgji i Francji, o wiele niewyrówna najskromniejszym nawet potrzebom ludności. Sprzęt w Anglji niewystarczy na dłużéj jak na trzy miesiące; w Belgji równie smutny rezultat się przedstawia. To wszystko każe przewidywać, że ceny zboża na wiosnę pójdą w górę.

— Pod redakcją d-ra Gregorowicza wychodzić będzie w Warszawie pismo perjodyczne «*O Hygjenie*»; w ciągu roku ma się ukazać 26 zeszytów dwuarkuszowych. Tenże d-r. Gregorowicz wydał dzieło «O głuchocie», któréj zbadaniu specjalnie się poświęcał, i wedle zapewnienia dzienników, ma posiadać niezawodny sposób jéj leczenia.

— Wyszedł z druku przekład francuzki wyboru bajek Krasickiego i Jachowicza, dokonany wierszem przez pp. Leclerc i Rollinat. Sprawozdawca G. W. oddaje pochwały téj pracy i zwiastuje o zamiarze tłómaczów zajmowania się daléj przekładami z naszego piśmiennictwa.

Tygodnik illustrowany (55—56):

— J. F. Kraszewski napisał życiorys Jana-Pawła Woronicza, znakomitego mówcy i wzniosłego poety, który raz natchnioném słowem, jakby z ust proroka dawnych wieków wychodzącém, poruszał kraj cały od brzega do brzega, drugi raz pełniąc ciche obowiązki proboszcza w Liwie, Kazimierza i Powsinie, zniżał się do pojęcia otaczającego go ludu, i równie świetnych umiał dokonywać czynów,—na katedrze arcybiskupiéj i na krzesełku nauczycielskiém w szkółce wiejskiéj, był zawsze wierny swojemu proroczemu posłannictwu. Krótkie, lecz głęboką myślą nacechowane wspomnienie p. Kraszewskiego o tym mężu wedle serca bożego, oraz wizerunek jego robiony ze współczesnego obrazu, który p. Kraszewski posiada, wdzięcznie muszą być przyjęte przez ogół czytający. Rodzina śp. prymasa Woronicza zamyśla o całkowitém wydaniu pism jego; byłby to najpiękniejszy i najtrwalszy dla niego pomnik, a zarazem nieoceniona przysługa dla narodu: gdyż poprzednie wydania, dorywczo przez spekulantów robione, ani kompletem i uporządkowaniem, ani pięknością wykonania, niesą godne autora «Sybilli.»

— Tadeusz Padalica dał dalszy ciąg szkiców z Ukrainy; przedstawiono tu w wybornych rysunkach i opisie czumaka

w drodze, wnętrze chaty ukraińskiéj, assaułę, typy kobiét ukraińskich i Żyda kolonistę ze stepów chersońskich. Największą część opisu p. Padalica poświęcił czumakom, których «maże skrzypiące» przynajmniéj z imienia znane są w całym kraju z«Marji» Malczewskiego. Znaleźliśmy tu jeden szczegół, który dla swéj krzyczącéj potworności zasługuje na jak największy rozgłos i potępienie; wypisujemy go w całości: «Prywatni właściciele niektórych pastwisk i studni (w stepie, przy drogach, kędy ciągną podróżni czumacy z wozami) wprowadzili we zwyczaj następne nadużycie. Za pastwisko i wodopój biorą grosz lub dwa tylko, ale do każdéj pary wołów obowiązuja wziąć *ośmuchę* wódki z szynku. Nicby to jeszcze,— powiadają czumacy:—ośmucha kosztuje cztery grosze; lecz jeśli kto ma cztery pary wołów, musi wziąć cztery ośmuchy. Sam niewypijesz, więc częstujesz drugich; a gdy zakręci czubie, często zahulasz i przepijesz wszystko, i wóz, i woły, i odzież, i cudzy towar. Niejeden z nas powrócił z batogiem tylko.« Dodać jeszcze potrzeba, iż to musi być dosyć upowszechnionym zwyczajem, gdy między czumakami urodziła się następująca anegdota, którą także z pięknego artykułu p. Padalicy wypisujemy. »Razu jednego dwaj czumacy w podróży jechali na jednym wozie. Jeden z nich, leżąc wznak, zapatrzył się na niebo i pyta towarzysza:—Jak ci się zdaje, przyjacielu, ile wiorst będzie do nieba?—Zapytany podniósł oczy, otworzył gębę i pomyślawszy nieco rzekł: Będzie wiorst ze siedm.—Głupiś, odrzekł mu-tamten, otoż powiem ci, że niema i siedmiu. Gdyby było siedm, toby na drodze postawiono choć jedną karczmę.«

— P. T. S. ukończył swoje «Obrazy Wielkopolskie«, które przez kilka numerów Tygodnika się ciągnęły. Jestto rodzaj podróży, w któréj i nasuwające się fakta ze stanu współczesnego, i wspomnienia historyczne, i osobiste wrażenia autora, w dobréj zgodzie obok siebie stawają. Życzyć należy z autorem, ażeby ze wszech stron dawnéj Polski mogły się zebrać podobne obrazy: bo dziś mając do syta opisów podróży po różnych krajach i pustyniach, niemamy tylko dzieła, coby w sposób zajmującéj opowieści przedstawiło nam współczesny stan kraju całego.

— Pod tytułem «Wiek przeszły i teraźniejszy,» p. Anczyc w wierszach i rysunkach dał nam już dwa dowcipne obrazki, w których występuje najkomiczniejszy a zarazem smutny kontrast: zamiłowania w bojowym rumaku i wyścigowéj szkapie, chłopięcia nielękającego się przesadzać płoty i drżącego na widok indyka, znawcy szabli i majstra do robienia wolt, dzielnego rębacza i niezmordowanego szulera.

— Kronika tygodniowa podaje wieść o mających się zjawić dwóch nowych pismach perjodycznych, z których jedno będzie prawném, drugie dla wieku młodocianego.

PAN PUŁKOWNIK JANIKOWSKI.

(Dokończenie ob. N: 2).

Jakież dziwne są losy ludzkie! Potém żona tegoż samego Buchanowa (z domu Sosińska) mieszkała w sąsiedztwie, bo o wiorstę tylko, we wsi Nastaszce, z żoną Janikowskiego; obie wdowy pocieszały się wzajemnie, a kiedy Buchanowéj czego kiedy zabrakło, pewno znalazła to u swojéj sąsiadki i przyjaciółki Janikowskiéj!

Drugi sławny pojedynek Janikowskiego był ten, jaki odbył on był z ks. Karolem de Nassau. Człowiek ten awanturniczego życia, błąkał się po świecie, chcąc zająć czémkolwiek duszę swoją wysuszoną od tchnienia powiewu sceptycyzmu wieku XVIII. Płynął on z Bougainvillem na około świata; polował w Afryce na lwy, potém, wałęsając się, przybył do Polski i polował w Nalibockiéj puszczy. Został potém obywatelem kraju naszego, ożeniwszy się z Sanguszkową. Otoż ten książe de Nassau, którego u nas Dynassowem zwano, solą był w oku Janikowskiemu; markotno mu było słyszeć, że jest to człowiek, co niezna strachu, co tak samo potykał się z lwem i tygrysem afrykańskim, jakby polował na zająca. Więc, jakto był mąż animuszu zuchwałego, ustawicznie Janikowski zachodził raz drogę księciu, powtarzając: Mości książe, jam nie tygrys, sprobuj się ze mną! Uprzykrzyło się to nareszcie księciu, więc spytał go czy szlachcic? „Pewniejsze moje szlachectwo jak czyjeś tam księstwo, odpowiedział na to dumnie Janikowski, czém nie mało zadrasnął był dumę Karola de Nassau, któremu dwór wiedeński nie przyznał był tytułu i praw książęcych, mieniąc go synem pobocznym księżnéj nassauskiéj. Więc nastąpił pojedynek księcia z Janikowskim, w którym podobno ten ostatni został był rannym.

Opowiadają, że razu jednego, w czasie kontraktów lwowskich Janikowski po swojemu awantury wyrabiał; kręcił się koło niego w bufecie jakiś oficerek niemiecki, co mu się niepodobało, więc niedługo myśląc dał mu po nosie. Namówiony od kolegów swoich aby się zemścił, przez dni kil a niemógł się zebrać z duchem; nareszcie namyślał się powetować zadaną mu obelgę i kiedy Janikowski bawił się w najlepsze na reducie w grę jakąś i koło stolika jego siedział dowódzca regimentu niemieckiego jenerał Wendorf, oficerek ów, zakradłszy się cichutko z wielkim strachem, uderzył Janikowskiego z tyłu; ten porwał się z miejsca, a obaczywszy zmykającego daleko oficerka, odwinął rękę i wymierzył ciężki policzek dowódcy jego Wendorfowi. Kiedy ten oszołomiony wrzasnął, pytając co to jest? Janikowski, siadając na swoje miejsce, powiedział z krwią zimną: „a czyż mam za takim kpem jak twój oficerek biegać i szukać go? Jeżeli chcesz, to go znajdź i oddaj mu, bo on twój, albo, jeżeli wola, strzelaj się ze mną, bo też ja z takim smarkaczem pewno strzelać się nie będę.“ Naturalnie, nazajutrz, musiał był nastąpić pojedynek; Wendorf, jako urażony miał pierwszy strzał za sobą; ale stchórzył niemiec, ręka mu drżała, strzelił i drasnął tylko Janikowskiego po skroni, a ten przypadłszy do niego na krok, powiedział, przykładając mu pistolet do piersi: Teraz mam prawo zabić cię, ale żal mi ci życie odbierać, wszelako warto jest byś i sam to wiedział i drugim to pludrom powiedział, jak to Polacy biją.“ W tym momencie wystrzelił i kula na wylot przeszyła niemcowi fałdy od munduru; Wendorf podskoczył na dwa łokcie w górę i ze strachu zachorował; ze dwa tygodnie potém bawił się łóżkiem. Janikowski, tegoż dnia, wieczorem, znowu był na reducie, bawił się wesoło, chociaż jego łeb zawiązany, obłożony chlebem i pajęczyną, świadczył o poniesionéj ranie.

Inną razą, na kontraktach Kijowskich już, Janikowski spotkał był jednego młodzika z nosem zwieszonym na kwintę; ojciec tego kawalera był w ścisłéj przyjaźni z pułkownikiem. Począł więc badać Janikowski młodego, co mu się stało? Długo się nie przyznawał młodzian, czego jest tak zmienionym, ale nareszcie, ustępując przyjacielskim naleganiom Janikowskiego, przyznał mu się, że wpadł był przed kilką dniami pomiędzy szulerów, a ci, dane mu od ojca na possessję 20,000 zł., wydarli od niego, grając z nim niesumiennie. Potrzeba wiedzieć, że na początku wieku naszego, gry publiczne były jeszcze dozwolone i w czasie kontraktów Kijowskich w dzisiejszéj sali kontraktowéj, kiedy na dole odbywały się interessa, co językiem czasu owego zwało się *chodzić na klop* (club), na górze były porozstawiane stoły, złoto leżało na nich kupami, a faraon, ruleta i inne gry azardowne zabierały ludziom niedoświadczonym ostatnią złotówkę z kieszeni. Do tego to *piekła* wpadł był nasz młodzieniaszek. Pułkownik, czując przyjaźń dla ojca jego, postanowił zemścić się za krzywdę niedoświadczonego młokosa, ale zemścić się po swojemu. Wszedł więc z nim do sali, na górę, zbliżył się z nim do stołu owego, przy którym zgrał się był ów nieborak, a dobywszy sławnéj *dziewiątki* z pochew, *quinque diablu, Mosanie* zawołał piorunującym głosem i uderzył szablą o stół, aż przestraszeni gracze odskoczyli od niego. Wtenczas Janikowski garściami brał złoto leżące kupami na stole i ciskał nim na wsze strony, na bufet, na kapelę, co grała na chórze, na tłumy ciekawych, co się kupili dokoła, sprawiając jakby ów deszcz złoty, którym Jowisz skropił był kiedyś kochankę swoją. Toż samo uczynił na kilku innych stołach, a tymczasem szulery, jak mrówki swoje poduszki przed mającym nastąpić deszczem, zgartywali śpiesznie swoje pieniądze i umykali co żywo przed Janikowskim; wszyscy znali i bali się pułkownika jak ognia. Nikt z tych panów przeciw temu zuchwałemu postępkowi nie pisnął ni słowa. Biedny młodzieniaszek nie odzyskał wprawdzie swojéj przegranéj, ale też znalazłszy w pułkowniku Janikowskim patrona, zemścił się nad szulerami należycie.

Ostatni pojedynek Janikowskiego był z Anglikiem Wormsem, odbyty w Białéjcerkwi r. 1800. Rzecz miała się tak: Janikowski, rokiem przedtém, będąc w Warszawie, wyzwał był jakiegoś *nababa* angielskiego na pojedynek, a wyzwał dla tego, jak mówił, że jeszcze w życiu swém nieprobował się nigdy z Anglikiem, słyszał zaś, że lud ten ma być bardzo dzielnym do wypitéj i wybitéj. Janikowski, pod temi względami, nie chciał oddawać pierwszeństwa nikomu; szło mu tu, jak mówił, o honor narodu. Anglik przyjął wyzwanie, prosił tylko o czas, by stając z tak sławnym z waleczności mężem, mógł pierwiéj rozporządzić się należycie interesami swemi i fortuną. „Ha! w tém twoja rzecz *Panie milordzie*, odpowiedział mu Janikowski; Wać pan jesteś urażony, więc jak tam sobie uważasz. Jeśli ci niepilno przystąpić do sprawy honoru to jedź sobie.“ Anglik obiecał stanąć z powrótem równo przez rok; wprawdzie dodał dumnie syn Albionu, proszę o termin dość długi, ale za to gotów jestem naznaczyć Waszmości metę dość krótką i będziemy się strzelać przez stół. Anglik wyjechał, wszyscy się śmieli z niego, że uciekł przed Janikowskim. Potém pułkownik wyjechał z Warszawy na Ukrainę i bawił w Białéjcerkwi u Hetmana Branickiego. Tu tak się bawił wybornie przy kieliszku, że całkiem zapomniał był o swoim Angliku. Zdarzyło się, że 1-go listopada 1800 r. zjawił się na pokojach hetmańskich Anglik, pytając o Janikowskiego; przypomniał mu, że to była właśnie rocznica tego dnia, kiedy został był wyzwany od niego na pojedynek w Warszawie. Zaproponował warunki takie: mierzyć się do siebie powinni byli w tenczas kiedy będą pić wino, a kula miała wylecieć wtedy kiedy mierzący wysuszy spory kieliszek. Zgodził się na to Janikowski, ale cóś go niepokoiła owa osobliwsza punktualność Anglika. Może mu przyszła była wtedy na myśl owa bajka o wilku:

Nosił wilk, nosił razy kilka,
Ponieśli i wilka.

Podano pistolety i postawiono wino na stół. Anglik wziął szklankę do ręki, a w drugą wziął pistolet; to samo uczynił Janikowski; szło o to kto prędzéj wypije. Janikowski miał dobre gardło, nikt go przepić nie mógł; probował się on ze Szwejkowskim, Ilińskim, Komarzewskim; wypijali oni nieraz kielich wojewody Stempkowskiego, w którym mieściło się 3 butelki; a nakrywa sama brała w siebie dwie. Potém ze łba ogolonego Janikowskiego szła para jak z komina, wino wyparowało i potém był czysty jak bursztyn; choćby przyszło zaczynać próbę na nowo. Wszystko to było dobre, ale Janikowski spostrzegł od razu, że Anglik był opojem 16 próby; przytknął kielich do ust i lał w gardło jak w beczkę. Widocznie jeszcze miał on od niego obszerniejszą gardziel. Pił J. i patrzał pilnie na przeciwnika, obserwując go, a w tém Anglik poruszył kielichem jakby miał już go opróżnić, a Janikowskiego ręka z pistoletem zadrżała.„ Ha! moja wygrana! zawoła Anglik; stchórzyłeś Waść, dość mi na tém; mam teraz zupełną satysfakcję.“ I obaj podali sobie dłonie. Powieść o tym pojedynku znaną jest każdemu na Ukrainie.

Janikowski znanym był wszystkim w Warszawie jako straszny weredyk: bano się go powszechnie. Razu jednego dowiedział się, że u Pani jednéj znajduje się ukryta osoba jedna, o któréj nie chciałaby była ona aby wiedziano; zwłaszcza dla męża powinnaby była wizyta ta być tajemnicą. Janikowski potrzebował właśnie pieniędzy; udaje się więc do owéj pani z prośbą o pożyczenie téj sumki. Kasztelanowa wymawia się, że niema pieniędzy a Janikowski siedzi, gawędzi, wiedząc dobrze, że w alkowie jest ktoś i że ten ktoś musi wyjść i wyjść koniecznie przez pokój, w którym bawił się z Kasztelanową. Chciałaby pożegnać pani Janikowskiego mówi, że ma migrenę, ale ten uśmiecha się znacząco do niéj, przymruża oko i głową wskazuje jéj na pokój gdzie był ukryty amant. Znając język ostry pułkownika kasztelanowa, widząc, że się go inaczéj nie pozbędzie, dała mu nareszcie żądaną od niego sumkę.

Kiedy był podkomorzym, nietak mu szło z piórem jak z szablą. Na jednym zjeździe, na którym był także wezwany drugi podkomorzy Kazimierz Gr... ski, mąż znany ze swéj zacności i z jasnego poglądu na zagmatwane częstokroć sprawy graniczne, wszedł raz Janikowski do pokoju swego kolegi, a za nim służ cy niósł tacę, butelki i lampeczki; stary urzędnik, p dniósł głowę, zwieszoną nad papierami i z podziwieniem ujrzał u siebie Janikowskiego, dowodzącego tak straszn ą baterją. Coto asindziéj myślisz? zapytał gościa swego; p co te butelki? Janikowski, siadając obok podkomorzeg o i kładąc rękę na ramieniu jego, taką mu dał na to pytanie odpowiedź: „Widzisz waszmość tak; jam dopiero nietęgi, napisz więc jegomość co tam wiesz za mnie i za siebie, winko wypijemy, a jak się za ciebie kolego potrzeba będzie wybić kiedy, to pamiętaj, że masz Janikowskiego, co cię w tym zastąpi.“ Starzy uśmieli się z tego konceptu i pociągnęli sobie węgrzyna.

Do samej śmierci Janikowski był ten sam co i pierwéj. Mieszkając już na Ukrainie, jeździł raz do Kijowa z hetmanem i hetmanową. Wracając, marszałek Wasylkowski J. R*** przyjmował ich u siebie; po śniadaniu, czy po obiedzie, gospodarz przeprowadził gości do promu, bo jakoś to było w marcu i Stuhna rzeka rozlała była, chcąc zapewne sobie pozwolić za wszystkie czasy. W jednéj karecie jechała hetmanowa, a z nią pułkownik Janikowski; w drugiéj jechał hetman z jenerałem Montrezorem. Kiedy przybyli do promu i zabierano się właśnie do ustawienia na nim powozów, naleciał pijany jakiś kurjer i począł krzyczéć, domagając się, aby zaniechali wszystkich, a przeprawiali natychmiast trójkę jego. Przekładano mu, że kareta, już jest na promie, że nie zabawią wrócić, że więcéj daleko czasu zabierze ściąganie napowrót z promu niż przeprawienie go. Ale perswazje te nic nie pomagały, a kurjer hałasował nieprzyzwoicie. Mówiono mu nareszcie, że przeprawiano damę, hetmanowę, ale i to nic niepomagało i kurjer napiły począł mówić nieprzyzwoitości. Słysząc to zniecierpliwiony Janikowski wyszedł z powozu; kiedy kurjer ujrzał zbliżającą się do siebie tak straszną figurę, mówią, że tak się był przestraszył, że uchwyciwszy z zapasu pistolety, wystrzelił prosto w piersi Janikowskiego, ale wilgotna pora zwilżyła była proch na panewce, kurek klapnął, ale niewypalił. Wtenczas Janikowski, z zimną krwią, wziął go tylko jedną ręką za barki i, stojąc na promie, zanurzył go w wodzie, po razy. Kilka, kuryer krzyczał, bo kąpiel była zimna, a futro jego zostało na wozie, a Janikowski dokonywając téj operacji, mówił do niego z flegmą: „Jak widzę kawalerze, gorąco jesteś kąpany, muszę ochłodzić WPana.“ Poczem wsiadł do karety, przepraszając hetmanowę za to, że musiał był użyć lekarstwa chłodzącego na tego niegrzecznego Jegomości.

Przed śmiercią, Janikowski, mając już lat blizko siedemdziesięciu, zachorował ciężko. Węgrzyn, chociaż go nigdy nie upajał, a tylko parował przez głowę ogoloną, przecież odezwał się w końcu i dał mu za swoje. Janikowski dostał silnéj pedogry i musiał się na starość łóżkiem bawić. Doktor nadworny hetmana Malburg wyczerpał w końcu całą swą umiejętność medyczną. Kiedy nic mu nie pomagało, hetman sprowadził umyślnie z Węgier sławnego wówczas w kraju tym lekarza Pajera. Wnoszono słusznie, że ponieważ zaród choroby był w winie węgierskim, więc i leki węgierskie najskuteczniejsze na nią być muszą. Sprowadzenie lekarza kosztowało wiele, ale Branicki nie żałował kosztów, łożąc je dla uratowania zdrowia temu, co, wedle słów króla Stanisława „wrócił był duszę ciału Branickiego,“ i to nie raz jeden zapewne. Sam więc przywiózł Pajera do Trockiego i kazał mu dobrze zbadać chorobę i stan zdrowia chorego. Węgier nieumiejąc po polsku, *z kiepska po węgiersku* dopytywał o zwykły tryb życia pacjenta, obecnie i w czasie przeszłym: zaledwo można była w końcu zrozumieć czego on chciał. Kiedy nareszcie objaśniono choremu to, o co się pytał eskulap, Janikowski dał znak, aby się doń przybliżył stary jego, a wierny sługa, lokaj Tomasz; oddał mu na ucho jakiś rozkaz, a gdy ten wkrótce znowu ukazał się we drzwiach i oznajmił, że już wszystko było gotowo, wtenczas chory powiedział do Branickiego: Ja niemogę rozmówić się z tym Niemcem jak należy, ale raczcie Mości Hetmanie zaprowadzić go do izby przyległéj, a tam obaczy on sobie jak ja pędziłem mój żywot cały. Pajer wprowadzony do drugiéj komnaty, udekorowanéj przed chwilą przez starego Tomasza, obaczył przed sobą w obrazie całą kwintessencją życia pułkownika: na stole stał blat pieczeni huzarskiéj, kosz wina węgierskiego, obok leżała sławna *dziewiątka* i para pistoletów. W kąciku stała Kruska, panna respektowa, z minką skromną, nie wiedząc zapewne tego, po co ją tam postawił Tomasz i co wyobrażała w tym żywym hieroglifie. Janikowski był ten sam do samego końca.

Oto jest wyborny obrazek prawdziwéj tężyzny; dziś nic już podobnego spotkać się nie daje, więc nieodrzeczy było spisać krążące niedawno jeszcze o nim powieści, zachwilkę ślad by ich zatarł się zupełnie. Niema czego zapewne żałować téj tężyzny, ale odbita w powieści jest ona oryginalna i pewno nie bez powabu.

***

KORESPONDENCJA KURJERA WILEŃSKIEGO.

Aleksota, *12 stycznia 1861 r.*

Dom Zleceń Rolników Nadniemeńskich zawiadamia interessowanych, iż potrzebuje znacznéj partji:

Siemienia lnianego do siewu, w najlepszym gatunku;
Lnu międlonego, tak moczonego jak i słańca;
Miodu, patoki, ile można, lipca.

Posiadający te produkta raczą się zgłosić listownie do głównego zarządu domu.

Bracia Gawrońscy, Skarżyński i Spółka.

Królewiec *w Pr. 5 stycznia 1861.*

Cały czas schodzącego tygodnia był suchy, lecz za to tak mroźny, że termometr na dniu poczęściéj na 13 Reaumura się trzymał.

Handel zbożowy w ostatnich dniach sześciu przedstawiał się już w mdlejszéj postaci i ceny zboża lubo się jeszcze nie obniżyły, mają się przecież ku zwichnięciu.

W Anglji spadły przy ostrym mrozie wielkie śniegi tak, że przerwały prace i siejbę w polu, w skutek też czego, jak z wewnątrz kraju donoszą, jedna trzecia część przeznaczonéj pod pszenicę gleby pozostała bez uprawy. Z wielu stron do tego dają się słyszeć skargi na robaki oziminę niszczące. Dowóz krajowego ziarna był nader szczupły i mało też takowego wystawiono na sprzedaż. Przy ograniczonych tranzakcjach ceny jednak tak na pszenicę jak i zboże jare mocno się trzymały a w niektórych punktach Szkocji do 1 szylinga nawet przybrały.

Również Francja pod względem mroźnego i tak śnieżnego powietrza, tego samego, choć nie w takiéj mierze, co Anglja, doznała losu, a jéj zaś targi zbożowe jak i belgijskie przy stałych dowozach nie były zbyt ożywione, choć ceny bynajmniéj nie zwolniały.

W Hollandji zostało bez odmiany, tylko za żyto na odstawę 1 fl. wyżéj płacono.

Nasza giełda nie wiele przedstawiała życia, mało zawierano tranzakcij, a te tylko jeszcze z pewną ofiarą sprzedającego przychodziły do skutku. Tak pszenica, jak żyto uległo zniżeniu, choć ostatnie nie tyle, co pierwsza, która dziś szczególnie spadła w cenie.

Według sprawozdania tutejszych kurtjerów okrętowych wywieziono w upłynionym roku z Królewca do rozmaitych krajów:

Pszenicy łasztów 17,693, żyta 34,859, owsa 10.372, jęczmienia 3,504, grochu 4,882, bobu 829, wyki 1,759, siemienia lnianego, konopnego i rzepiu 7,445, lnu centnarów 45,861, pakuł lnian. 1331, konopi 3,535, pakuł konop 330, płótna 1,172.

Z tego najwięcéj, pszenicy poszło do Anglji, łasztów: 12,796, żyta do Norwegji łasztów 9,471 owsa do Anglji łaszt 9,512, również tamże jęczmienia łaszt 1,739, tak samo tam grochu 3,151 także i bobu 825 jak i wiki 1,629 olejnego ziarna 3,265. Najwięcéj też do Anglji posłano lnu i to centnarów 37,870, pakuł lniannych 1,325; do Pomeranji zaś konopi cent. 3,233, pakul konop. 330, a płótna do Anglji i to 992 centnarów.

W ubiegłym roku wywieziono importowanego z Polski i Rossji zboża łasztów 31,067. Z tego pszenicy łasztów 3,846, żyta 18,330, jęczmienia 725, owsa 2443, grochu 1,244, bobu 37, wiki 6, siemienia 4,436.

Ostatniego dnia płacono na naszéj giełdzie

	za Szefel pr.	Korzec Warszawski z doliczeniem 14 pr. agio.	
Pszenicy jasnéj z wagą:			
120 f.—130 f.	sr. 85—104	złp. 44. 23	do złp. 54. 18 gr.
— zwyczajnéj:			
118 f.—128 f.	,, 78— 96	,, 41	,, 50. 16 ,,
— czerwonéj:			
118 f.—128 f.	,, 78— 98	,, 41	,, 51. 15 ,,
Żyta z wagą:			
114 f.—126 f.	,, 48— 58	,, 25 7	,, 30. 14 ,,
na odstawę w maju i czerwc.			
za 120 ,,	55 i pół.	,,	,, ,, 29 4 ,,
jęczmienia 100 f.—104 f.	,, 40— 44	21 2	,, 23 5 ,,
owsa 55 f.— 75 f.	,, 16— 31	,, 8 23	,, 16 9 ,,
grochu białego	,, 56— 63	,, 29 11	,, 33 4 ,,
zielonego	,, 65— 83	,, 31 25	,, 43 20 ,,
bobu	,, 58— 70	,, 36 6	,, 36 25 ,,
wiki	,, 30— 56	,, 15 23	,, 29 14 ,,
siemienia lnianego:			
104 f.—116 f.	,, 68— 85	,, 35 23	,, 44 23 ,,
rzepiu	90—105	,, 47 11	,, 55 7 ,,

Koniczyny czerwonéj centnar od tal. 7 do tal. 14.
Tymoteusza ,, 8 ,, 10.
Kudrów lnianych ,, 2. 8 sr. 2. 12 sr.
ditto rzepiowych ,, 1. 25 ,,
Spirytusu beczka z naczyniem tal. 23 o 8,000 pr. Tral.

Ostatnich dwóch tygodni kontraktowano wełnę po następujących cenach: za strzyż wyborową tal. 87 do tal. 88 centnar.
,, i kną ,, 82 ,, 84 ,,
,, średnią ,, 76 ,, 78 ,,
,, zwyczajną, ordinar. ,, 70 ,, 72 ,,

Maszynowych węgli kamiennych łaszt o $83\frac{1}{5}$ korc. tal. 48.
Kowalskich ,, ,, ,, 44.
Sledzi nazwanych szotów beczka ,, $12\frac{1}{4}$
,, ,, Ilów dtto ,, $9\frac{1}{4}$
,, ,, kupieckich dtto ,, 13
,, średnich Dronthejmów dtto ,, 9

Kursa zamian: Londyn $196\frac{5}{8}$, Amsterdam $100\frac{3}{8}$, Hamburg $44\frac{2}{3}$, Berlin 2 M. $99\frac{2}{3}$. 3 M. 99.

Za rubla płacą $28\frac{7}{8}$ sr. gr. pr.

Agencja Domu Nadniemeńskiégo
J. Gościcki.

Ryga, *27 grudnia.*

Z powodu świąt interesa mało miały w ostatnich dniach ożywienia; ze zbożem tylko ruch, acz nie nazbyt wielki trwał ciągle. Żyta sprzedano górą 1,500 łasztów. biorąc za 116, 117, f. 93-94 rs. natychmiast, za 117, 118, f. po 98 i $98\frac{1}{2}$ rs. z 10 pct. zadatku, za 118, 119, f, 100 rs. i 25 pct. zadatku na dostawę w maju. Pszenicy nie bardzo się dopytują, i umów znaczniejszych o nię niebyło. Owies sprzedano po 76 rs. za 74 f. i na ochotnikach do zakupu po téj cenie niezbywa. Wnioskując z zawieranych obecnie umów, przypuścić można, iż z wiosną przybędzie do nas na statkach około 800 łasztów pszenicy, 3,000 żyta i 10,000 owsa. Zakontraktowano 600 łasztów pszenicy, 2,000 żyta i 2,500 owsa. Lnu sprzedano około 1,000 berkowców po dawnéj cenie; przywóz tego produktu umiarkowany, kupujący nieśpieszą z nabywaniem. Z pieńką również cicho, lecz sprzedający wymagają wyższéj ceny. Siemienia konopnego dostać można po $4\frac{1}{2}$ rs. za tonn.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

W przyszły czwartek na benefis pana Walerego Nowakowskiego, dany będzie po raz pierwszy dramat tłómaczony z francuzklego, p. t. *Klara d'Oberville*, osnuty na wypadkach sławnego processu *P. Lafarge.*

— W Kobylnikach, w powiecie Święciańskim, na wzór innych miejsc, gdzie już staraniem i kosztem parafjan wzniosły się ze składek świątynie Pańskie, proboszcz miejscowy ks. Ludwik Mienicki rospoczął restauracją kościoła, najważniejszym przyczynkiem do tego będą składki okolicznych obywateli, loterja przez damy urządzona, oraz pomniejsze dary prywatne. Przy kościele Kobylnickim dzięki staraniom proboszcza urządzoną została szkółka dla dzieci włościańskich. W tak świętéj sprawie, mamy prawo głos podnieść i odezwać się do ogólnego współczucia, w imie upoważnienia, jakieśmy otrzymali od proboszcza kobylnickiego i zawezwać Chrześcjan o dobro kościoła dbałych do składki ogólnéj, na rzecz rozpoczętéj restauracji.

O F I A R Y.

W Redakcji Kurjera Wileńskiego złożyli na kościoł panien Marjawitek w Częstochowie: Róża Czyż rub. sr. 1. Franciszka G. wzbierane przez siebie rub. sr. 3 kop. 37 i pół.—Na kościoł w Kobylnikach: Redakcja Kurjera rub. sr. 10.

T E A T R.

Wtorek 10 stycznia: Szlachectwo duszy (komedja).
Wieczór jesienny na wsi (wodewil).
Czwartek 12 stycznia: Hrabina d'Oberville (dramat).
Wyjątek z opery Ernani (3-ci akt).

ВИЛЕНСКІЙ ДНЕВНИКЪ.

Пріѣхавшіе въ Вильно съ 5-го по 9-го января.

Преосвященный Епископъ Брестскій Игнатій.

ГОСТИННИЦА НИШКОВСКІЙ. Пом.: уѣзд. пред. Тукалло и Ширинъ.—Каминскій. Скаржинскій. Радванскій. Ванковичъ. Горватъ. Генералъ-маіоръ баронъ Розенъ. штабсъ-кап Рехневскій. учит. Мириновичъ. кондукторъ Мержеевскій. купецъ Сабранскій.

Въ разныхъ домахъ:

Въ д. Пузыны: кол. ск. И. Буткевичъ пом. С. Бокщанскій. дворян. И. Галко. пом. В. Янчевскій. П. Богдановичъ.— Въ д. Красовскаго: пом. Бялоцкій. К. Масловскій.— Въ д. Геца: г-жа Марія Лебедева.— Въ д. Брндта пом. Шадзевичъ.— Въ д. Ледуховскаго: пом. А. Ленскій.— Въ д. Ясевича: ст. сов. И. Адельсонъ.— Въ д. Паца: командиръ капорск. пѣх. полка, Сорокинъ.— Въ д. Захватовича: двор. Ф. Тончевскій.— Въ д. Лебенсона: б. пред. двор. Я. Лиссовскій.— Въ д. Ленскаго: ст. сов. Кейтъ.

Выѣхали изъ Вильна отъ 5-го по 9-го января.

Пом. Бениславскій. Олендзкій. г-жа Коревина. губ. сек. Завадскій. пом. Л. Закржевскій. Каетанъ и Осипъ Крассовскіе. Густ. и Влад. Грабовскіе. Игн. Таньскій. пом. Шелькингъ. шт.-кап. Оскерко. кол. асс. В. Ивицкій. кадетъ Ф. Врангель. лекарь Ев. Клюковскій. студ. унив. Р. Поплавскій. пом. Ф. Рудомина. пом. Э. Мейштовичъ.

DZIENNIK WILEŃSKI.

Przyjechali do Wilna od 5-go do 9-go stycznia

JWielmożny biskup Brzeski Ignacy.

HOTEL NISZKOWSKI. Ob marszałkowie: Tukałło i Szyryn.— Kamiński. Skarżyński. Radwański. Wańkowicz. Horwat. Jenerał-major baron Rozen. Sztabs-kap. Rechniewski. naucz. Mirinowicz. konduktor Mierzejewski. kupiec Sabrański.

W różnych domach:

W d. Puzyny: sekr. kol. J. Butkiewicz. ob. S. Bokszczański. szlachcic Józef Hałko. ob. W. Janczewski. P. Bohdanowicz.— W d. Krasowskiego: ob. Białocki. K. Masłowski.— W d. Gicca: pani Marja Lebiediewa.— W d. Brandta: ob. Szadziewicz.— W d. Leduchowskiego: ob. A. Łęski.— W d. Jasiewicza: radz. st. J. Adelson.— W d. Paca: dowódzca koporsk. pułku Sorokin.— W d Zachwatowicza: szlachcic F. Tonczewski. — W d. Lebensona: b. marszałek Jakub Lisowski.— W d. Łęskiego: radz. st. Kejt.

Wyjechali z Wilna. Od 5-go do 9-go stycznia.

Ob. Benisławski. Olendzki. pani Korejwina. sekr. gub. Zawadzki. ob. L. Zakrzewski. Kajetan. i Józef Krasowscy. Gust. i Wład. Grabowscy. Ign. Tański. ob. Anfons Szejking. szt. kap. Oskierko. ass. kol. Wł. Iwicki. kadet F. Wrangiel. lekarz Eust. Klukowski. stud. uniw. Petrsb. R. Popławski. ob F. Rudomina. ob. Ed. Mejsztowicz.

Печатать позволяется. Вильно 9 Января 1861 г.— Ценсоры: дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавалеръ, *П. Кукольникъ* и статскій совѣтникъ и кавалеръ *А. Мухинъ.*

W Drukarni A. H. Kirkora i sp.